ВАСИЛИЙ РОЗАНОВ

ОТ ДОСТОЕВСКОГО ДО БЕРДЯЕВА. РАЗМЫШЛЕНИЯ О СУДЬБАХ РОССИИ

Классика русской идеи

Василий Розанов

От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России

«Public Domain»

2017

УДК 1(091)(470)
ББК 87.3(2)

Розанов В. В.

От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России / В. В. Розанов — «Public Domain», 2017 — (Классика русской идеи)

ISBN 978-5-906979-81-0

Василий Васильевич Розанов (1856-1919), самый парадоксальный, бездонный и неожиданный русский мыслитель и литератор. Он широко известен как писатель, автор статей о судьбах России, о крупнейших русских философах, деятелях культуры. В настоящем сборнике представлены наиболее значительные его работы о Ф. Достоевском, К. Леонтьеве, Вл. Соловьеве, Н. Бердяеве, П. Флоренском и других русских мыслителях, их религиозно-философских, социальных и эстетических воззрениях.

УДК 1(091)(470)
ББК 87.3(2)

ISBN 978-5-906979-81-0

© Розанов В. В., 2017
© Public Domain, 2017

Содержание

В.В. Розанов среди философов 7
Об особенностях развития России, о культуре, об эстетике 13
Почему мы отказываемся от «наследства 60–70-х годов»? 13
I 13
II 13
III 15
IV 18
V 19
В чем главный недостаток «наследства 60–70-х годов»? 21
I 21
II 22
III 23
IV 25
V 27
Европейская культура и наше к ней отношение 29
I 29
II 30
III 32
IV 33
Красота в природе и ее смысл 35
I 36
II 38
III 39
IV 41
V 41
VI 42
VII 43
VIII 44
IX 45
X 46
XI 47
XII 48
XIII 50
XIV 51
XV 53
XVI 54
XVII 57
XVIII 58
XIX 60
XX 61
XXI 62
XXII 63
XXIII 65
XXIV 66
XXV 68
XXVI 70

XXVII 71
XXVIII 72
XXIX 73
XXX 74
Ф. М. Достоевский 78
Размолвка между Достоевским и Соловьевым 78
Памяти Ф. М. Достоевского 84
Экономический и социальный вопрос у Достоевского 90
Конец ознакомительного фрагмента. 93

Василий Розанов
От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России

© ООО «ТД Алгоритм», 2017

В.В. Розанов среди философов

Был ли Василий Васильевич Розанов философом или писателем? До сих пор мнения об этом расходятся. Сам он, конечно, начинал как философ в первой и единственной философской своей книге «О понимании» (1886) с длинным подзаголовком: «Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания».

Окончив в 1882 году историко-филологический факультет Московского императорского университета, Розанов захотел дать «план наук не только сущих, но и всех будущих», самой возможности науки, всех возможных наук, выведя эти возможности из потенциальности разума, его «живой потенциальности». Это называл он своим «открытием» на Воробьевых горах, где жил летом. Книга писалась без подготовки, без справок, без «литературы предмета». Работал легко и радостно в годы службы в прогимназии в Брянске, куда он попал после университета. «Обыкновенно это бывало так, – вспоминал Розанов через тридцать лет. – Утром, в «ясность», глотнув чаю, я открывал толстую рукопись, где кончил вчера. Вид ее и что «вот сколько уже сделано» – приводил меня в радость. Эту радость я и «поддевал на иголку» писательства»[1].

Эту книгу, в основе которой лежит идея зерна и вырастающего из него дерева, идея «живого роста», Розанов считал определяющей для всего своего мировоззрения. В письме К. Н. Леонтьеву он говорил, что книга «О понимании» «вся вылилась из меня, когда, не предвидя возможности (досуга) сполна выразить свой взгляд, я применил его к одной части – умственной деятельности человека. Утилитаризм ведь есть идея, что счастье есть цель человеческой жизни; я нашел иную цель, более естественную (соответствующую природе человека.), более полную во всех отношениях, интимную и общественную»[2].

Книга направлена против профессоров философии Московского университета, которые чтили лишь позитивизм. Вместе с тем автор видел и слабые стороны своего труда, о которых позднее говорил: «Мне надо было вышибить из рук, из речи, из «умозаключений» своих противников те аргументы, которыми они фехтовали. Надо было полемизировать не с Парменидом, а с Михайловским. Конечно – это слабая сторона книги»[3].

Когда нынешняя герменевтическая критика утверждает, что важно не само литературное произведение, а его восприятие читателем и что вообще реально существует лишь восприятие, – это не вызывает недоумения. Иное дело столетие назад. Когда молодой Розанов выдвинул категорию «понимание», связующую человека с наукой, как системой знаний, то все смеялись над таким «трюизмом». Герменевтический аспект книги не заинтересовал современников. Рецензент «Вестника Европы» Л. Слонимский ядовито заметил, что автор разумеет под «пониманием» совсем не то, что принято разуметь под этим словом. «Для него это не психологический процесс, а какая-то новая всеобъемлющая наука, призванная восполнить собою недостатки и пробелы существующих знаний. Для нас этот «полный орган разума», выдуманный г. Розановым остается неразрешимою загадкою»[4].

Провал первой книги (часть тиража была возвращена автору, а другая часть продана на Сухаревке на обертку для серии современных романов) изменил всю судьбу Розанова. Много лет спустя он заметил: «Встреть книга какой-нибудь привет, – я бы на всю жизнь остался

[1] *Розанов В. В.* Собрание сочинений. Литературные изгнанники. М, 2001. С. 47.

[2] *Розанов В. Б.* Мысли о литературе. М., 1989. С. 503–504.

[3] *Розанов В. Б.* Литературные изгнанники. С. 19.

[4] Вестник Европы. 1886. № 10. С. 851.

«философом». Но книга ничего не вызвала (она, однако, написана легко). Тогда я перешел к критике, публицистике: но все это было «не то». Это не настоящее мое»[5].

Вслед за книгой «О понимании» Розанов собирался писать такую же большую по величине под названием «О потенциальности и роли ее в мире физическом и человеческом». Потенция – незримая, неосуществленная форма около зримой, реальной. Мир – лишь частица «потенциального мира», который и есть настоящий предмет философии и науки. Законы и условия перехода из потенциального мира в реальный заполняли розановскую мысль и воображение. Однако замыслу не суждено было воплотиться. Новые проблемы захватили Василия Васильевича, перешедшего в 1887 году на службу в Елецкую гимназию.

В Ельце он тайно венчался с вдовой Варварой Дмитриевной Бутягиной (первая жена Аполлинария Суслова не давала развода). Здесь он вместе с учителем Елецкой гимназии Г1Д. Первовым перевел первые пять книг «Метафизики» Аристотеля (отдельное издание СПб., 1895), а 1 октября 1888 года на публичном акте Елецкой гимназии произнес речь по поводу 900-летия крещения русского народа, напечатанную в январе 1890 года в «Русском Вестнике» и вышедшую в том же году в Москве отдельной брошюрой под названием «Место христианства в истории». Основная мысль этой речи сводится к тому, что арийский склад души определяется объективностью, а склад души семитских народов – субъективностью. Христианство же явилось синтезом, гармоническим сочетанием этих двух как будто противоположных начал.

Летом 1891 года, во время короткого пребывания в Москве, «случайно» началась газетная публицистика Розанова. Он опубликовал в «Московских Ведомостях» несколько статей о «наследстве 60–70-х годов». Появление их (затем собранных в книге Розанова «Литературные очерки») настолько впечатлило современников, что годы спустя Н.К Михайловский, а за ним В. И. Ленин (в работе «От какого наследства мы отказываемся?») вновь и вновь пытались опровергнуть мысли Розанова.

Что же такое сказал Розанов, что всполошило весь демократический лагерь – от народников до марксистов? Молодой публицист не сделал никакого открытия, не провозгласил новой философской доктрины и не перевернул с головы на ноги какую-либо старую. Поздние народники, а затем социал-демократы объявили себя наследниками «великих шестидесятников», призывавших Русь к топору, к революционному переустройству общества. Дети и внуки на себе испытали острие этого топора, скосившего не только дворян, офицеров, помещиков, но и духовенство, крестьянство, казачество, интеллигенцию – русскую культуру в се цвете и плодоношении. Когда же наконец открылись пустынные «сияющие вершины», то вспомнили пророческие слова Розанова в «Уединенном», что повое здание социализма, «с чертами ослиного в себе, повалится в третьем – четвертом поколении».

В «шестидесятниках» Розанов усматривает великую вину целого поколения, идеи которого через десятилетия обагрили кровью Россию и отбросили ее к мраку и ужасу средневековых застенков, к террору – сначала индивидуальному, а затем, когда «пошли другим путем» – массовому. Дело в том, что в русском народе они усматривали лишь средство для построения «светлого будущего». И потому Розанов писал в своей программной статье «Почему мы отказываемся от “наследства 60–70-х годов”?»: «И если мы видим, как опять и опять человек рассматривается только как средство, если мы с отвращением заметили, как таким же средством становится и сама истина, могли ли мы не отвратиться от поколения, которое все это сделало?»

Когда Розанов учился в нижегородской гимназии, он стал зачитываться Достоевским, который оказал удивительное воздействие на юную душу. Чем же, собственно, Достоевский стал так дорог с первой строки и с первой минуты знакомства с ним? «Пришел и сел в комнату», «пришел и сел в душу». «Достоевский есть самый интимный, самый внутренний писа-

[5] *Розанов В. Б.* О себе и жизни своей. М., 1990. С. 710.

тель, так что его читая – как будто не другого кого-то читаешь, а слушаешь свою душу, только глубже, чем обычно, чем всегда… Чудо творений Достоевского заключается в устранении расстояния между субъектом (читающий) и объектом (автор), в силу чего он делается самым родным из вообще сущих, а, может быть, даже и будущих писателей» (статья «Чем нам дорог Достоевский?»)

В Ельце была создана первая литературная книга Розанова – «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского» (1890). Философские размышления о Достоевском, начатые в счастливые годы в Ельце, продолжались всю жизнь писателя. «Я потому так и люблю Достоевского, потому смерть его так страшно поразила меня, что он понял не только светлое, но и все темное в подростках наших, и это темное обвил такою любовью, таким состраданием», – писал он Н. Н. Страхову 3 февраля 1888 года. Постоянно вчитываясь в книги Достоевского, он говорил, что это – «гибкий, диалектический гений, у которого едва ли не все тезисы переходят в отрицание»[6] (вот где истоки антиномического мышления и самого Розанова).

«Легенду о Великом инквизиторе», сочиненную Иваном Карамазовым, Розанов считает душой романа, все действие которого «только группируется около него, как вариации около своей темы». В критике давно утвердилась мысль, что в этой книге Розанова дана религиозная трактовка творчества Достоевского. Однако было бы точнее сказать, что Розанов проанализировал «Братьев Карамазовых» и центральную в философском плане главу романа в контексте христианских размышлений и сомнений Достоевского.

Одна из главных идей книги Розанова заключается в том, что Достоевский, Толстой, Тургенев и другие писатели противодействовали «отрицательному» гению Гоголя. «Правда, взор его и их был одинаково устремлен на жизнь: но то, что они увидели в ней и изобразили, не имеет ничего общего с тем, что видел и изображал он». Знаменитый розановский апофеоз «мертвечины Гоголя» предстает отправным пунктом всей книги, столь необычного по тому времени исследования: «Мертвым взглядом посмотрел Гоголь на жизнь и мертвые души только увидел он в ней. Вовсе не отразил действительность он в своих произведениях, но только с изумительным мастерством нарисовал ряд карикатур на нее: от этого-то и запоминаются они так, как не могут запоминаться никакие живые образы».

Прочитав первые главы «Легенды…» Розанова в «Русском Вестнике», К. Н. Леонтьев писал автору 13 апреля 1891 года из Оптиной пустыни:

«Читаю Ваши статьи постоянно. *Чрезвычайно* ценю ваши смелые и оригинальные укоры *Гоголю*; это *великое* начинание. Он был очень вреден, хотя и непреднамеренно. Но усердно молю Бога, чтобы вы поскорее *переросли Достоевского* с его «гармониями», которых никогда не будет, да и не нужно»[7].

Статьи о Достоевском Розанов писал к 20-летию, к 25-летию, к 30-летию его кончины. Писал бы и далее, если бы не революция и собственная смерть. Он как бы жил «по часам» Достоевского, был весь в движении его идей.

В 20-ю годовщину смерти Достоевского Розанов пророчески писал о грядущем мировом признании великого писателя: «Достоевский – это для Европы революция, но еще не начавшаяся, хотя и совершенно приготовленная. В час, когда era идеи станут окончательно ясными и даже только общеизвестными… начнется великая идейная революция в Европе»[8].

В конце жизни в письме к Э. Голлербаху 9 мая 1918 года Розанов определяет путь своих философских исканий двумя именами, оказавшими решающее воздействие на него, – К. Леонтьева и Достоевского. «Лишь то, что у них было глухо или намеками, у меня становится ясною,

---

[6] РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 219. Л. 5.

[7] *Розанов В. В.* Собр. соч. Литературные изгнанники. С. 329.

[8] *Розанов В.* 28 января 1881–1901 // Новое Время. 1901. 28 января. Для книги «Около церковных стен», куда вошла статья, Розанов изменил эти слова.

сознанною мыслью. Я говорю прямо то, о чем они не смели и догадываться». Главное в философии Леонтьева Розанов определяет как поиск «красоты действительности»: не в литературе, не в живописи или скульптуре, а в самой жизни. «Прекрасный человек» – вот цель, «прекрасная жизнь» – вот задача.

Леонтьев разошелся со всеми и вся и ушел в монастырь, сначала на Афон, затем в Оптину Пустынь. «То, что он остался отвергнутым и непризнанным, даже почти непрочитанным (публикою), и свидетельствует о страшной *новизне Леонтьева*. Он был «не по зубам» нашему обществу, которое “охает” и “ухает” то около морали Толстого, то около героев Горького и Л. Андреева. Леонтьев гордо отвернулся и завернулся в свой плащ. И черной фигурой, – именно как “Некто в черном”, – простоял все время в стороне от несшейся мимо него жизни, шумной, отвратительной и слепой».

В глазах Розанова Леонтьев предстает как защитник юности, молодости, «напряженных сил и трепещущих жизнью соков организма», как провозвестник «космического утра и язычества». Особенно привлекает Розанова плюрализм мышления Леонтьева, столь близкий и понятный ему самому. «Права старость. Права юность. Правы мы, прав он. Тут некуда уйти. Право христианство со страховским “смирением” и “ничего не хочу”, и прав Леонтьев, с его языческим – “всего хочу”, “хочу музыки”, “игр”… и – “нарядов”. Это писатель, выразивший в стремлениях человечества нечто такое, что до него не выразил никто».

Леонтьев потерпел поражение, и Розанов глубоко переживал трагедию его судьбы. «Он, бедный идеалист, держал древко покинутого знамени, он хватал его мотающиеся, простреленные в боях шелковые лоскутки… Бедный! Конечно, он был раздавлен, и все его сочинения – только крик раздавливаемого человека о правде его знамени, покинутого всеми знамени его родины…»[9]

Непросто складывались отношения Розанова с философом Владимиром Соловьевым. После его смерти в предисловии ко второму изданию своей книги «Природа и история» Розанов назвал его «самою яркою философскою фигурою за XIX век у нас… Гнездо родной земли уже не держало его; однако полета сколько-нибудь правильного и цельного, сильного и далекого у него не вышло. Он более шумел крыльями, чем двигался».

Отрецензировав брошюру Розанова «Место христианства в истории», Соловьев писал К. Леонтьеву: «Насколько могу судить по одной прочитанной брошюре, он человек способный и мыслящий». Но для Соловьева Розанов едва ли когда-либо был больше, чем «способным и мыслящим человеком». Он считал себя выше всех окружающих людей, даже выше России, выше церкви, чувствовал себя «Моисеем», которому не о чем говорить с людьми, потому что он говорил с самим Богом.

Хорошо знавшие Соловьева люди говорили, что его глубокомыслие часто соседствовало с юмором и смехом. Впервые Соловьев «пошутил» над Розановым, когда за статью «Свобода и вера», появившуюся в январской книжке «Русского Вестника» за 1894 год, обозвал его именем щедринского героя – Иудушкой Головлевым. Личное знакомство двух писателей состоялось поздней осенью 1895 года по инициативе Соловьева. Однако речи о жестокой и грубой полемике между ними больше не заходило, все просто «прошло»: «Я думаю, – писал Розанов, публикуя в 1905 году письма Соловьева к себе, – ни он не настаивал бы на своих определениях меня, ни я не думал ничего из того, что высказал о нем».

Поэзия Соловьева, так же как его человеческие качества, привлекали Розанова подчас больше, чем его философия. Мировоззрение Соловьева называют «философией конца». Розанов обратил на это особое внимание. «Известно, что и Вл. Соловьев, – писал он в предисловии к публикации писем К. Леонтьева, – посмотрел на фазу нашей истории, как на предсмертную, – в последние дни своей жизни».

---

[9] *Розанов В.* Кому «горе от ума» в действительной жизни // Русское Слово, 1896. 19 февраля.

Национальное значение философии Соловьева Розанов определяет как «начальное» и в силу этого неопределенное. Он принадлежал к «начальным умам», а не к умам завершающим или оканчивающим какое-либо направление или течение. «Философия русская отсутствует, – полагал Розанов, – на этой обширной площади с надписью: “Предмет отсутствует” – появление Соловьева с его плаванием туда и сюда, с его расплескиванием волн во всевозможных направлениях – весьма естественно. Полезно ли? На это ответит будущее».

Итоговую характеристику Соловьева и своего отношения к нему Розанов высказал в «Мимолетном»: «Многообразный, даровитый, нельзя отрицать – даже гениальный Влад. Соловьев едва ли может войти в философию по обилию в нем вертящегося начала: тогда как философия – прибежище тишины и тихих душ, спокойных, созерцательных и наслаждающихся созерцанием умов… Самолюбие его было всепоглощающее: какой же это философ? Он был ПИСАТЕЛЬ – с огромным вливом литературных волнений своих, литературного темперамента – в философию». Проза Соловьева, говорил Розанов, «вся пройдет», просто не будет читаться иначе как для темы «самому написать диссертацию о Соловьеве». Но останутся вечно его стихи, в которых он и благороден и мудр, а в некоторых даже «единственно прекрасен».

Вспоминая о русском духовном Возрождении начала XX века, Н. А. Бердяев рассказывал о возникновении «нового религиозного сознания»: «Основным было влияние проблематики В. Розанова. Он был самой крупной фигурой собраний. В сущности, произошло столкновение Розанова, гениального критика христианства и провозвестника религии рождения и жизни, с традиционным православием, монашески-аскетическим сознанием. Были поставлены проблемы отношения христианства к полу и любви, к культуре и искусству, к государству и общественной жизни»[10].

Называя Розанова одним из «самых необыкновенных, самых оригинальных людей», каких ему приходилось в жизни встречать, Бердяев утверждал, что Розанов написал о его книге «Смысл творчества» четырнадцать статей. «Он разом и очень восхищался моей книгой и очень нападал на нее, усматривая в ней западный дух. Но никто не уделял мне столько внимания»[11].

В статье о книге Бердяева, напечатанной в «Новом Времени», Розанов высмеивает притязания мессианизма – тема весьма важная для многолетнего хода мыслей Василия Васильевича о «русской земле и литературе». Розанов предостерегает от опасности мессианизма, в каком бы народе он ни проявлялся. «У русских – мессианизм славянофилов и главным образом Достоевского, сказавшийся в знаменитом монологе Ставрогина о “народе-Богоносце”, и в речи самого Достоевского на открытии памятника Пушкину. Удивительно, что никому не пришло на ум, как это место опасно. Т. е. как опасно вообще и всемирно стремиться к первенству, исключительности, господству».

В реплике «Апофеоз русской лени» Бердяев отвечает Розанову, что тот «восстает против идеи мессианизма народов, против всяких универсальных притязаний, мировых миссий, исторических величий, против всякого водительства и господства»[12]. Вместе с тем Бердяев отмечает: «Розанов сейчас – первый русский стилист, писатель с настоящими проблесками гениальности. Есть у Розанова особенная, таинственная жизнь слов, магия словосочетаний, притягивающая чувственность слов. У него нет слов отвлеченных, мертвых, книжных. Все слова – живые, биологические, полнокровные. Чтение Розанова – чувственное наслаждение. Трудно передать своими словами мысли Розанова. Да у него и нет никаких мыслей. Все заключено в органической жизни слов и от них не может быть оторвано. Слова у него не символы мысли, а плоть и кровь»[13].

---

[10] *Бердяев Н. А.* Собр. соч. Париж, 1989. Т. 3. С. 691.

[11] *Бердяев Н. А.* Самосознание. Париж, 1949. С. 158.

[12] Биржевые Ведомости, 1916. 28 июля.

[13] *Бердяев Н. А.* Собр. соч. Париж, 1989. Т. 3. С. 349.

В очерке «О типах религиозной мысли в России» (1916) Розанов характеризует положение, сложившееся в философской мысли в Москве к началу мировой войны. В религиозно-философском книгоиздательстве «Путь» образовались две группы философов: левое течение, руководимое кн. Е. Н. Трубецким, около которого стоит и Бердяев; и более крупное правое течение, представленное П. А. Флоренским, В. Ф. Эрном и С. Н. Булгаковым. Последние и образуют собою «молодое славянофильство», которое вызывало особый интерес Розанова, укреплявшийся и личными контактами. Этот «философско-поэтический кружок», как называет его Розанов, являет собой «самое крупное умственное течение в Москве». Все юное и возрождающееся, говорит он, притягивается, нравственно влечется к этому течению.

«Изданные уже теперь «Путем» книги гораздо превосходят содержательностью, интересом, ценностью «Сочинения Соловьева» (вышла деятельность из «Кружка Соловьева»)»[14], – писал он в «Опавших листьях».

Главой московского славянофильства Розанов считал Флоренского, книгу которого «Столп и утверждение истины» Бердяев назвал «самым значительным явлением в этом течении». Розанов же писал, что громадный труд Флоренского «стал в этом кружке «столпом» отправления дальше, а для иных – «столпом возврата», во всяком случае – пунктом, куда собираются люди».

Сопоставляя влияние Д. С. Мережковского, которое распространялось преимущественно на тех, кто «находится на первых стадиях религиозного пути и обладает небольшим еще религиозным опытом», с глубоким воздействием книги Флоренского, Розанов замечает: «Странно сравнивать ту утонченную ученость, какою, например, пропитан от первой до последней страницы знаменитый «Столп и утверждение истины» профессора и священника П. А. Флоренского с «жидким трепетанием» собственно брошюрок и статеек Мережковского»[15].

«Густой книгой» назвал Розанов труд Флоренского: «Тут все трудно, обдуманно; нет строки легкой, беглой. Вообще – ничего беглого, скользящего, мелькающего. Каждая страница не писалась, а выковывалась… Это – “столп” вообще русский, чего-то русского». «Он ползет, как корни дерева в земле»[16], – сказал Розанов о народных, почвенных, коренных основах мышления Флоренского. Он видел в книге Флоренского «дружбу к человечеству». И как далеко это было от дышащих злобой и ненавистью «философских» книг социал-демократов, печатавшихся в те годы и переиздававшихся позднее миллионными тиражами.

А. Н. Николюкин

[14] *Розанов В. В.* Уединенное. М., 1990. С. 183.

[15] *Розанов В.* Князь Е. Н. Трубецкой и Д. Д. Муретов // Колокол, 1916. 12 августа.

[16] *Розанов В. В.* Уединенное. С. 121.

Об особенностях развития России, о культуре, об эстетике

Почему мы отказываемся от «наследства 60–70-х годов»?

I

Факт, что дети, взращенные «людьми шестидесятых годов», отказываются от наследства своих отцов, от солидарности с ними и идут искать каких-то новых путей жизни, другой «правды», нежели та, к которой их приучали так долго и так, по-видимому, успешно, – есть факт одинаково для всех поразительный, вносящий много боли в нашу внутреннюю жизнь и, без сомнения, одною силою своею, своим значением имеющий определить характер по крайней мере ближайшего будущего. Между вопросами, занимающими теперь общество, многие более неотложны, более нетерпеливо ждут и нуждаются в разрешении; но нет между ними ни одного столь общего и столь нуждающегося в цельном освещении его причин и смысла.

Прежде всего о внутренней боли, которая чувствуется в этом вторичном разладе между отцами и детьми. Нужно вспомнить то одушевление, ту полную веру людей шестидесятых и семидесятых годов в себя, в свои принципы, в свое близкое и вековечное торжество, чтобы понять всю горечь их разочарования при виде того, как, не говоря уже о дальних поколениях, их же собственные дети, взращенные в наилучшем ознакомлении с этими принципами, совершенно отвращаются от них – и с ними от самих людей, седины и труд которых они были бы готовы почтить, если бы только не эти принципы. И далее, чтобы понять жгучесть этой боли и чувство ужасного стыда, в ней содержащегося, нужно вспомнить, как проводили люди шестидесятых годов своих отцов – эту светлую плеяду людей сороковых и пятидесятых годов, первых славянофилов и столь же благородных и идеальных первых западников. О, это было время, которое дважды не переживается обществом, и хотя оно теперь только прах истории, но и до сих пор бьется сердце, как за живых людей, за этих отошедших в вечность стариков, при чтении журналов того времени. Поистине «дети», провожавшие тогда в землю отцов своих, как будто себя самих уже считали бессмертными. Среди многих искусственных идей того времени, искусственных понятий о человеке и об обществе, как будто заглохла и эта вечная мысль о смертном часе, который настает для всего живого. И грозный час пришел…

В то время как люди еще боролись бессильной иронией своих слов, история уже готовила для них злую иронию фактов. Не успели смеющиеся уста сомкнуться, как лица смеющихся исказились ужасом одинокой смерти. *Все это можно было предвидеть, всего этого можно было избежать еще тридцать лет назад. Не следовало забывать историю, не следовало забывать текучесть своего момента времени.*

II

Эта боль положения не может не вызывать сетований. Но какая разница между тем, как сходили с исторической сцены люди сороковых – пятидесятых годов, и тем, как сходят теперь с этой же сцены их дети! Несколько слабохарактерные, всегда изящные и задумчивые; несколько неправые, как и всякое поколение, пред вечными обязанностями человека на земле, люди сороковых – пятидесятых годов прежде всего устремили свое внимание именно на эти последние. Уже по внешним условиям они не могли стать людьми дела, но, кажется, и по внут-

ренним склонностям они были мало к нему способны и расположены. Это были прежде всего люди рефлексии, люди углубленного, развитого чувства. Повинуясь только своему влечению, не сознавая своего исторического положения, они создали целый мир глубоко человечных понятий и чувств. Как и всегда в течение вот уже двух веков, они обращались беспрестанно к Европе, которая стала для них вторым отечеством, часто более дорогим и духовно близким, чем своя родина; но по благородным задаткам своей души они избирали в Европе одно лучшее. И это лучшее они принесли к себе, в свою серую родину, холодную и угрюмую. Семя, посеянное ими здесь, взросло богатою нивою, которую мы и до сих пор жнем, почти не чувствуя еще ее истощения. Круг применения идей, правда, очень расширился, как и количество фактического содержания, которое от начала они могли бы вместить в себе; самые же идеи почти не увеличились. В этом состояла их историческая задача: в общество, в верхних слоях своих еще грубое, в средних и образованных – наивное, они внесли серьезное размышление и углубленность чувства. Но практического применения этих идей ими не было сделано – это была вторая и более легкая задача, предстоявшая их детям.

Последние с упрека отцам своим в этом недостатке и открыли свою деятельность. Привычка на всем тотчас сосредоточиваться, забывая остальное, и на этот раз не оставила готовое сойти в могилу поколение. Они забыли то, что сделали, и помнили только о том, чего не сделали. Сама история, непреодолимым движением фактов, привела их перед концом к этой мысли, самой необходимой для всякого, кто готовится оставить жизнь. Грустные и растерянные, со встревоженною совестью, один за другим сходили эти люди с исторического поприща, оставляя трепещущему жизнью поколению детей своих завет труда, которого сами они не выполнили. И дети их приступили к труду; о, конечно, и из них многие остались верны памяти отцов, и задача, на которую молча указывала история, – *с развитою душой приступить к обновлению жизни* – была ими выполнена. Лучшее, что было сделано в царствование Александра II (не по прочности, но по мотиву), было сделано людьми этого душевного настроения. Они учились, они размышляли и чувствовали, как и люди сороковых и пятидесятых годов; из них многие и теперь живы, и как светоч блистают для нас в сферах науки, литературы и, может быть, политической деятельности (о последней не знаю). Их было очень немного, хотя они сделали главное, остающееся в истории. Совсем иным путем пошла главная масса. На деле их, на писания в течение двадцати лет можно здесь набросить покров: мы все их знаем; не знаю, желательно ли составление очень *подробной* истории этих писаний и дел, и часто думается, – раз это время уж минуло, – что лучше было бы никогда не поднимать над ними покрова. Пусть мы, все видевшие, все читавшие и знавшие, живем еще с тревожными, с мучительными и раздраженными воспоминаниями, но ни к чему передавать эти воспоминания и дальним поколениям. Желчи и горечи достаточно даст каждому из них и свое время. Одного не следует забывать при этом, чтобы хорошо понимать источник разницы между двумя рядом стоящими поколениями нашего общества. Говоря о людях сороковых и пятидесятых годов, мы заметили, что главное в их деятельности было обусловлено *избирательными инстинктами*, которые они принесли с собою в Европу. В этих же инстинктах и теперь состояло все дело. Европа шестидесятых и семидесятых годов, как и всегда, представляла из себя необозримую сокровищницу, увитую седым мхом и зеленеющими побегами, где всякий мог находить для себя все, что было ему нужно. Гениальное и пошлое, целебное и заразительное – все было в этом организме, самом могучем и полном, какой создавался когда-либо в истории. Европа уже все передумала, все пережила, *все переделала на все манеры*, – и у ней одинаково можно научиться и тому, как просветлять жизнь высшим светом, и тому, как отравлять свою душу неизгладимою отравой. Все дело, продолжаем, было в инстинктах избирания. Руководясь ими, люди шестидесятых и семидесятых годов принесли из бесценной сокровищницы Запада новые семена на свою родину – и ниву, уже засеянную их отцами, занимая их след, засеяли новым принесенным семенем. Нива снова возросла, жатва созрела и была срезана, но… когда должен

был начаться вечерний пир, пищи не оказалось. Люди, приведенные на этот пир с *молодыми, свежими инстинктами*, непреодолимо отвращаются от приготовленных яств. И старики, которые так много трудились на ниве в знойные и в холодные дни, руки которых устали и более неспособны к труду, видят, что свою жатву, надежду стольких лет, им остается только унести с собой в могилу. Все это страшно горько, страшно трудно, надо всем этим нельзя смеяться, и дурно делает тот, кто это делает. *Но изменить факта нельзя – и не следует.*

III

Групповой возраст этого поколения, отказывающегося от наследства отцов своих и от солидарности с ними, должен быть от 20–30 лет или несколько более. Молодежь, принадлежащая к нему, должна была родиться между 1858–1868 гг., кончить гимназию между 1878–1886 гг., а университет между 1880 и последующими годами. Время, в которое эта молодежь слагалась умственно и вырабатывала себе жизненную программу, совпало как раз с наиболее печальным временем нашей общественной жизни. Тут были и 1 марта 1881 года, и все его дальнейшие острые последствия. Общество заметалось, спуталось; оно и прежде было слабо сознанием, а тут мысль его и совсем очутилась под спудом. Аксаков думал, что умственный промежуток, который открылся теперь перед обществом, и есть именно наиболее благоприятный момент того, чтобы общественное сознание встало в том направлении, которое он считал единственно способным обновить все наше общественно-государственное существование. Рядом с этим так называемые западники считали необходимым продолжением реформ в более широком виде и с более расширенною деятельностью интеллигенции. Но явилось и еще движение, направленное именно против интеллигенции. Это было одно из самых злополучных и несчастных самоотречений, продолжающееся и до сих пор. «Интеллигенция была сделана козлом отпущения за все – и кем же? Такою же самою интеллигенцией, как она, которая было устремилась за знанием, которую выдвинула Россия как необходимую для нее умственную силу – эта самая интеллигенция повернулась против той, которая так долго вела ее, почти во всем уже успела и стояла, по-видимому, перед минутой окончательного торжества своего» [17].

Так пишет один из самых деятельных писателей 60-х годов, лишь недавно сошедший в могилу, почти накануне ее. Да, все это было так, и годы указаны с изумительною точностью. Видно, что человек, писавший это, зорко следил за окружающею жизнью; но ход ее, но смысл и источник нового поворота для него, как человека, видевшего все лишь под одним углом, был неясен, непонятен, просто неизвестен. Он умер, проклиная новое движение, недоумевая о том, что делается. Так всегда бывает в истории, что люди, несущиеся на одной волне ее, видят только эту волну и, когда она падает, – думают, что все погибло и что история останавливается. Но это не так. Действительно, 70-е годы гимназии и 80-е университета – все впечатления этих лет и впечатление от 1 марта… Припомним же, каковы были эти впечатления; что нас в то время поразило, когда мы, стоя на пороге между гимназией и университетом, переживали эту страшную катастрофу. Нас поразила эта сухость сердца, этот взгляд на человека и отношение к нему. О, забудем, что-то был Государь, и Бог с ней, с этой все политикой и политикой… Но разве это не был человек, как и мы, с таким же ощущением простой физической боли, с таким же страхом смерти, с такими же светлыми надеждами, когда был молод, и разочарованиями, когда стал стар? Этот злобный смех на такие страдания, *при которых нам всем было бы трудно*, это равнодушие и вся политика перетрусившей печати, это холодное безучастие «интеллигентного» общества, когда одному человеку так больно, весь этот цинизм какой-то не то развращенной, не то от рождения пробуждавшейся души – нам был невыносим и отвратителен. Это было главное и самое сильное впечатление, необыкновенно яркое и *которое не*

[17] «Вестник Европы», 1891 года, май. С. 246–247.

мешало задумываться, потому что оно было одиноко. Все та же и та же боль умирающего человека, и равнодушное молчание вокруг. Мы тогда учились и все читали, все видели, тем более что никто нас в отдельности не замечал и ничего от нас не скрывали. «Но это было фактом политики, и никакой личной ненависти при этом не было», – говорили нам. Но тогда «цель оправдывает средства»? Тогда зачем же это негодование на костры инквизиции, также жегшей людей не для удовольствия, но для водворения на земле единства веры, то есть для их устроения, для их спасения за гробом, то есть «для наибольшего счастия наибольшего числа людей»[18], разумея счастие по условиям своего времени, своего воспитания, своих умственных способностей, – как иначе и не могут разуметь счастье люди и никогда не будут его разуметь. Этот недостаток универсальности в приложении принципов – было второе, что нас поразило тогда. «Мера одна для нас, которую мы требуем, а для других будет та мера, которую мы приложим к ним», – это всегдашнее требование эгоизма и несправедливости продолжало действовать и в тот момент, о котором нас хотели уверить, что он открывает собою эру изгнания из истории всякого насилия, эгоизма и несправедливости. Ясно, что не было никакой «эры»; было обыкновенное политическое волнение, с взволнованными страстями, с придуманными теориями – момент в излучистом течении истории, но вовсе не ее увенчание. Понять частный факт истории как всеобщий, принять будни за Светлый Праздник – этого мы не могли и не хотели, по простой невозможности не видеть, когда зрение дано, или не слышать, когда есть ухо. Но, повторяю, это впечатление было лишь последнее и самое яркое, необыкновенно важное в своем долгом одиночестве, не мешавшем думать. Детальные же, подготовительные впечатления – они шли издали, начались уже давно.

В 70-х и в начале 80-х годов мы все учились несколько иначе, чем учатся теперь. Мы все были теоретиками и мечтателями с ранней школьной скамьи. Средняя школа для нас проносилась, как в тумане, и мы все смотрели, из разных захолустных уголков России, в ту неопределенную даль, где для нас и было только одно – сияние милого, обвеянного мечтами, нас ожидавшего университета. Собственно, только эта поэзия ожидания и согревала нас в те ранние года, и ничем учитель не мог так привязать к себе и заинтересовать в классе, как рассказав что-нибудь о годах своего университетского учения – какие бывают профессора, что они читают, какой они имеют вид, наконец. Мы уже во многом были серьезны, но если в чем были детьми, со всей поэзией детства, со всею нескрываемою и нас несмущавшею наивностью, так именно в этом ожидании, в этих условиях представить людей, занятых только наукой, т. е. изысканием истины, и совершенно непохожих на всех окружавших нас, которые нам наскучили, которых мы часто не любили и не уважали. Помню эти долгие, уединенные прогулки по нагорному берегу Волги, с определением по положению солнца того направления, где был университетский город и куда вот уже скоро умчит поезд и. т. д., тогда начнется совсем, совсем другое. И ничего другого не было… Все было обманом старых литературных воспоминаний и немногих, избранных впечатлений наших школьных учителей. Университет – universitas omnium litteratum[19], вся эта «филология» наша была неправильна. Никак нельзя было представить, из каких требований ума вытекло это распределение наук, и в особенности как можно было преподавать науку, совершенно сбиваясь в ее определениях. Было чтение разных вещей о разных предметах, хрестоматия или сборник практически полезных сведений, но не было науки в смысле теории, своими широкими рамами покрывающей естественные потребности естественно же развивающегося ума. Даже и идеи о возможности и необходимости такого теоретизма нигде не было. Самые предметы науки как-то странно никого не интересовали; интересовали книжки, написанные об этих предметах, репутация широкой в них начитанности. В идее – огромное множество островов, ни к чему не примыкающих; в действительности – про-

[18] Формула дели человеческой жизни в утилитарной теории, которая в 60–70-х годах была общераспространенною.

[19] Совокупность всех наук (лат).

сто рассказы об островах, которые давно скрылись под поверхностью воды. А мы ждали материка. О, как удовлетворил бы нас Фома Аквинский, хотя между нами многие пришли сюда атеистами; или Бодэн, Гоббс, Жозеф де Местр, хотя мы вовсе не были «легитимисты». Но мы ждали складности; и кто бы нам ее ни дал – мы бы за ним пошли.

Только немногие старые профессора и спасли в нас идеализм к науке. Это были последние эпигоны людей 40-х годов, каких мы видели, которых мы никогда не забудем. «По-моему, где профессор – там и университет», – сказал один из них, вышедший тогда почему-то в отставку (Буслаев). – Да, конечно, а не большое кирпичное здание, выстроив которое в Томске и повесив на него вывеску, еще без профессоров, без студентов, все почему-то называли: «Сибирский университет». Странные понятия об университете – о святилище наук, где они преподаются, и которое изготовляется печниками на кирпичных заводах. Все извратилось и померкло в наше тусклое, искаженное время. В *«университете» университету еще нужно зародиться*; завестись чудакам-профессорам и всей студенческой братии слюбиться, сжиться, порасти мхом, кого-нибудь похоронить и справить тризну – и тогда это будет университет. Удостоиться стать им через почетный труд, через доблестную жизнь, *через историю* – можно; выстроиться университету нельзя.

Тогда в журналах все писали о «кружке молодых профессоров» в нашем университете; о стариках никто не писал и не говорил – только они сами издавали один ученый труд за другим, и до этого никому не было, по-видимому, дела. Работали в пустыне. Молодые же профессора, за исключением двух-трех, все были какие-то розовые или упитанные и чрезвычайно уморительные в своих усилиях показаться «страшными». Наивны они были очень; об одном рассказывали в университете, что он все укладывал в чемодан белье, говоря, что его скоро «вышлют», – конечно, выслать его было решительно не за что, и он до сих пор строчит свою бесталанную макулатуру во многих наших «передовых» изданиях. Этот профессор, охотнее возившийся с чемоданом, чем с книгами, понимая, что это не может не отражаться на лекциях, достаточно темно и достаточно ясно намекал на некоторую бедность развития при всей эрудиции у его старшего коллеги по факультету, который издавал тогда свои капитальные работы по финансовому праву. Эпиграфы к сочинениям обыкновенно брались тоже из какого-нибудь «страшного» философа. «Не плакать, не смеяться – но понимать. Spinosa» – помню, стояло на брошюре из веленевой бумаги у одного профессора, хотя из трех указанных проявлений человеческой натуры известно было всем, что он любил только второе. Все это было наивно, все было порой невыносимо; большее число студентов, как и всякой большей массы, становилось все более и более тем, чего от них ожидали. – «Я не хочу пить за студентов», – сказал один старый, ныне покойный профессор, когда 12 января ему предложили поднять бокал «за молодежь». Об этом рассказывали потом, и я не забуду, с каким уважением начали смотреть на него после этого случая очень многие из студентов. Раскол уже тогда и там начинался. Как теперь помню этого безукоризненного ученого в одном диспуте по палеонтологии: красавец доцент, очень речистый, на возражение невзрачного маленького старичка, ему официально оппонировавшего, сказал скромно и торжественно: «Но, позвольте, значит, вы незнакомы с последними замечаниями знаменитого венского ученого N.N.». Старик смутился и, кажется, ничего не мог возразить. Что же, на седьмом десятке лет, быть может, больной, он и вправду не успел еще, может статься, разрезать последних книжек ученых изданий и, кажется, жалел об этом, считал это стыдным для себя. «Да позвольте», – вдруг поднялся рядом со стариком сидевший профессор и сразу все покрыл своею гигантской фигурою и голосом: – Мой достоуважаемый учитель (и он обратился к смутившемуся старику, о котором я тут только узнал, что это был знаменитый ученый, сам объехавший всю Россию, еще когда доцентик не появлялся на свет), мой достоуважаемый учитель говорит вовсе не то, и вы только путаете дело своими ссылками…» – смял растерявшегося магистранта с его венскими профессорами и в крупных, резких штрихах показал, в чем суть дела и что этой сути даже не заметил опрятно одетый диспутант, все только

разрезавший новые книжки и в глаза не видавший ни одного геологического разреза и никаких окаменелостей. Старшие профессора, обросшие седою щетиною, были невзрачны, неуклюжи, сгорблены под тяжестью трудов и лет; но в своих потрепанных вицмундирчиках они были удивительно как внутренно изящны, всегда просты, – это чувствовалось, – возвышенны умом и сердцем. Совсем не то было в кружке «молодых профессоров».

IV

Но печать этого не чувствовала, это старались от нас скрыть, как будто не мы записывали в аудиториях лекции и сидели на диспутах. Замечательно, что в последние годы старики, если не обязывала служба, перестали посещать диспуты – *не любопытно было*. Не очень любопытно стало даже и для нас. Я помню один диспут, *вдруг ярко вскрывший перед нами смысл текущего момента университетской науки*: предметом диссертации служили отрывки речи какого-то греческого оратора. Впрочем, содержания отрывков магистрант не касался. В разных Venezianum B, Parisiensis A были разночтения, и среди них попадались очевидные ошибки. Они могли быть просто ошибками переписчика. Начинающий ученый задавался вопросом, не были ли они ошибками не зрительными, а слуховыми: общий оригинал мог читаться одним писцом, а остальные записывали за ним и, не расслышав слова, могли ошибаться в его начертании. Никогда не забуду, как перед диспутом магистрант в пространной речи объяснял об употребленном им при исследовании «индуктивном методе». Начался диспут; оказалось, что, хорошо выдержав метод, магистрант не выдержал хорошо корректуры и, где нужно было сослаться на Venezianum B, он сослался на Venezianum A и т. д. Произошла путаница, и единственная возможная цель диссертации не была достигнута. Несколько почетных гостей дремало на диспуте; студентов было мало за специальностью предмета. Зажгли уже огни, когда кончился диспут. Мы все вышли из аудитории с чувством стыда. «Кое-что о ничем» – так можно было бы озаглавить ученый труд по его внутреннему значению, и, однако, имя ученого, положение профессора было приобретено. Мне почему-то вспомнился при этом случай, как однажды молодой человек, готовившийся показывать перед публикой, как из одной курицы вдруг делается десять и яблоки невидимо перелетают из его рукава в карманы зрителей, предварительно, хотя по возвышению, объяснял нам, смеясь: «Конечно, господа, теперь наукою доказано, что в природе не существует чудес, и все, что вы увидите, основано просто на законах физики и оптики». И я вспоминал об «индуктивном методе», и уважении к нему начинающего филолога, и весь тот диспут в большой словесной аудитории. Не то же, конечно, но в этом роде. Все стало как-то очень обыкновенно, слишком просто; все стало ассимилироваться, терять очертания и внешние разграничения.

Помню, как однажды, по окончании лекции, сойдя на крыльцо, служившее курильней двух смежных факультетов, я увидел знакомого мне студента в чрезвычайном волнении. Это был один из серьезнейших молодых людей, каких мне удавалось знавать в то время, и чрезвычайно нравственный. Будучи очень беден, он содержал (еще с гимназических годов) при себе старуху мать, которую перевез с собою и в университетский город. Несмотря на трудность положения, он никогда не обращался за стипендией и перебивался уроками. Поздоровавшись, я спросил его, что с ним? Он рассказал мне, как, толкуя на лекции какой-то старинный памятник, молодой профессор с особенною любовью стал останавливаться на неприличных выражениях в нем (в старину, по простоте, не пропускаемых) и все повторял одно название, посмеиваясь и посматривая весело на аудиторию. Об этом профессоре я уже ранее и от многих слышал как об ужасающей бездарности, и он, очевидно, решился утилизировать неприличные слова, чтобы несколько оживить свои чтения. «Это нахальство, – рассказывал мне товарищ, – и, главное, видимая уверенность в нашем сочувствии ему до того меня возмутили, что, когда он вышел из аудитории, я, затворив дверь, предложил тотчас пойти всем курсом к ректору и

попросить, чтобы от нас убрали этого профессора, чтоб он больше не читал лекций, соглашаясь взять на себя выражение ходатайства» (что, конечно, было очень рискованно). Но студенты заколебались и, по идейной инерции, решили бросить все это, тем более что еще неизвестно, кого дадут взамен его, а не дадут, то и т. д.

В другой раз, на том же факультете, очень многолюдном и очень шумном, с лестницы спускался молоденький профессор и за ним толпы шумно разговаривающих студентов. Совсем в углу, на повороте лестницы, я увидел товарища своего по гимназии, Б., с лицом, залитым краской, и как-то ужасно смущенным. Думая, что что-нибудь произошло на лекции, я обратился к нескольким студентам с вопросом, но они, махнув рукой и продолжая разговаривать, прошли мимо. Увидав Б., я обратился к нему, и он, все запинаясь, не сразу начал: «Черт знает что такое! Этот NN. – он указал на пухленькую фигурку совсем юного лектора, – все пыжится изобразить из себя какого-то красного. Сегодня – лекция была о республике Платона – когда уже давно дали звонок, он вдруг вскакивает и, подняв руку, своим тоненьким пискливым голоском кричит: “Господа! Государство, в котором ultima ratio[20] есть штык и нагайка, такое государство, господа, гибнет” – и бегом почти выбежал из аудитории. Мне стало до того стыдно – и не знаю чего: ведь не я сказал, и, кажется, черт бы с ним, но лучше бы провалиться, чем видеть его в эту минуту». Все дело в том, что к кому идет. Все эти Бруты и Гармодии с обликом молодой купчихи были нам эстетически противны. Впрочем, на нашем факультете, по его крайне мирному характеру, подобных выходок не было, и он, вместе с физико-математическим, был самым серьезным в университете.

V

Итак, что касается до идеализма в науке, то мы видели только закат его – последние прощальные лучи, которые бросала нашему времени уходившая в могилу старость. Эти лучи один за другим тухли, и наступала сырая холодная темь, сквозь которую можно было рассмотреть только какие-то скверно-вызывающие улыбки и куда-то зовущие объятия. Мы их оттолкнули: этого цинизма к науке в ее святилище мы не могли вынести. И потом за пределами университета был все тот же цинизм умственный. Строгой, печальной в своих выводах науки мы не находили и в текущих книгах. Нужно было обращаться к кожаным переплетам, к очень старым журналам, чтобы наконец хоть где-нибудь найти серьезную заинтересованность предметами, которые и нас интересовали, и серьезную речь о них. Приходилось следить и за текущими научными спорами[21]. Истине засыпались глаза песком, ее проницательного взгляда больше не выносили. Присмотревшись в университете, мы были уже несколько опытны в различении всего этого и, хотя обычно молчали, но впечатления в нас оставались. Так далее и далее расходились мы со временем, которое нас вскормило и воспитывало.

Один из видных публицистов старого лагеря горько сетует на нас. Он говорит о «пренебрежительном, высокомерном, вообще отрицательном отношении *детей* к лучшим заветам отцов». Наш отказ от «наследия 60-х годов» он называет «ничем не оправдываемым» (статья г. Н. Михайловского: «Литература и жизнь»; Русская мысль, 1891 г., июнь, с. 144). Положа руку на сердце, может ли он сказать, что мы могли быть другими, вынеся с ранних годов все эти впечатления? И сам он, ясно, как мы, сознавая унижение науки ее служителями, не попытался ли бы вырвать у них по земле волокущееся знамя и понести его хоть как-нибудь самому? Не встал ли бы он, *оставаясь таким же и только родясь в наше время* (то есть не будучи сам инициатором многих идей, естественно не могущим отнестись к ним «со стороны»), в ряды самых горячих борцов с поколением отживающим, в котором стоит теперь? Все мы, поколение

[20] «Последний довод *(лат.)*.

[21] Напр., спор о дарвинизме, долго тянувшийся в последние годы.

за поколением, в самих себе не имеем значения: наше значение обусловливается лишь тем, как относимся мы к вечным идеалам, подле нас стоящим, которые с отдельными поколениями не исчезают. Сохраняет поколение верность им – и значение его не пропадает; изменяет оно этим идеалам – и его значение тотчас меркнет. В сфере умственной любить одну истину – это не есть ли идеал? В сфере нравственной – относиться ко всем равно, ни в каком человеке не переставать видеть человека – не есть ли для нас долг? И если мы видели, как опять и опять человек рассматривается только как средство, если мы с отвращением заметили, как таким же средством становится и сама истина, могли ли мы не отвратиться от поколения, которое все это сделало?

В чем главный недостаток «наследства 60–70-х годов»?

I

В одном рассказе мне пришлось, почти еще в детстве, прочесть, как в один незнакомый город вошли два путешественника. Побродив по улицам, они заметили, как толпы народа направляются все в одну сторону. Так как путешественники не имели никакой определенной цели, то, увлекаемые любопытством, и они пошли вслед за народом. Пройдя несколько улиц, искривленных и тесных, они увидели, наконец, площадь и на ней очень высокое и обширное здание, куда входил народ. С волнами его и путешественники вошли под своды этого здания. Из них один, очень деловитый, тотчас начал осматривать здание и, незаметно подвигаясь, чтобы не нарушить непонятной ему тишины, приближался ко всему, что поражало его сохранившеюся позолотою или казалось ему ценным камнем. Здание было удивительно велико, но вместе и очень старо, с потемневшею по стенам живописью и кое-где обвалившимися уже камнями. Он мысленно измерил высоту его стен и сообразил, сколько приблизительно строительного материала пошло на эти стены. Подивился и общему искусству в его постройке, потому что у себя на родине он не видел таких больших зданий, но все недоумевал, зачем столько труда и денежных средств было употреблено на него, потому что очевидно здание было неудобно, как-то неуютно, и трудно было представить себе человека с такими потребностями и вкусом, которому оно понравилось бы. Все запомнив, все сосчитав и решительно не находя, что ему еще делать, он вышел из здания, только мельком взглянув на своего товарища, стоявшего в задумчивости и, очевидно, еще не расположенного выходить. Между тем другой путешественник, чем долее стоял, тем в большее впадал очарование. Ничего подобного не видал он у себя на родине, и созерцание общего, прежде чем рассмотреть что-нибудь подробно, охватывало его все сильнее и сильнее, так что он все боялся потерять точку, на которой он стоял, и не решался пошевельнуться, чтобы к чему-нибудь подойти. Он не понимал, почему его влекли эти причудливые изгибы линий в сводах, но ощущал, что какие-то всегда жившие в нем чувства, прежде не пробуждавшиеся, неудержимо поднимаются теперь, и он, всегда бывший, как и все люди, точно становится другим человеком. Он был неизмеримо серьезнее и несравненно чище теперь, нежели когда-нибудь. Вокруг него стояли толпы народа, все так же тихо и только по временам совершая какое-то движение. Вдруг слух его поразила тихая музыка, и очарование еще возросло. Музыка доходила до самой глубины его сердца, и он, грубый и легкомысленный, впервые понял, к каким нежным ощущениям был способен. По мере того как храм перед ним раскрывался, он перерождался (по лицам окружающих он догадался теперь, что это в самом деле было нечто вроде тех убогих молелен, куда по временам собирались бедняки его города). Прислушиваясь к музыке и все более очаровываясь, он заметил, что к нему доносятся какие-то голоса и даже что музыка сопровождает какое-то пение. Заинтересованный, он решился наконец оставить свое место и продвинуться дальше сквозь тесно стоящие толпы народа. Голоса стали внятнее, и он уже мог разобрать их смысл. Все, что он пережил раньше в своей душе, чего он не мог преодолеть в себе, поддаваясь вихрю темных и мучительных ощущений, – он чувствовал, что все это в какой-то великой душе было преодолено, прояснено, и этот свет все победившей души выражался в смысле слышанных им слов. На все в душе своей он нашел в них ответ, какого не предполагал и который успокаивал. Вся его жизнь осветилась новым светом, и он понял, как много мрака было в этой жизни. Все более и более удивляясь, он понял, что, однако, не все слова относились к человеческому сердцу только. Много было совершенно неясных слов, говоривших о предметах вовсе ему не известных, и по тону пения можно было заметить, что эти слова были главные. Сколько он ни напрягал ума, чтобы понять их, это было

выше его сил, и это тем более волновало и мучило его, что было ясно, как за разгадкой этих слов объяснится для него и все остальное. Между тем времени прошло уже много, необъятные массы народа вдруг зашевелились и, незаметно для него самого, вынесли его вон из-под темных сводов ставшего для него навсегда дорогим, непонятного здания. На одной из улиц он встретил своего скучающего товарища, который с изумлением спросил его, неужели он до сих пор пробыл в этой стареющей развалине, и что-то заговорил про материал, из которого она построена. Но другой путешественник ничего не слышал из его слов: он все думал о главных, непонятных ему словах и решился посвятить свою жизнь их разгадке.

Этот рассказ, помню, чрезвычайно поразил меня (в каком-то переводном французско-русском сборнике 20-х годов), и с тех пор всякий раз, как мне приходится мысленно оценивать различные исторические эпохи или присматриваться к своему времени, я всегда и все оцениваю в свете этого рассказа. Мы все приносим с собою, рождаясь, различное; мир открывается нам в меру того, что мы с собой приносим в этот мир. Поэтому, когда в данное время все идеи суживаются, горизонт становится тесен и люди как будто погружаются в какой-то глубокий колодезь, я думаю, что это только на время и со следующим поколением все станет видно иначе, чем теперь. Во всем дурном или ограниченном виновны всегда люди, а не природа, которая и безгранична, и всегда остается хороша.

II

Никак нельзя сказать, чтобы путешественник, первым вышедший из храма, видел в нем что-нибудь не так или не то, что там было. Его глаз не делал никакой ошибки, и так же все его соображения, которые следовали за осмотром той или другой части, были правильны, неторопливы, соответствовали действительности. Но только *не всей они действительности соответствовали*: была неполнота в его наблюдениях, и только отчасти зависело от него, что он поторопился выйти. Главная причина заключалась в том, что он как-то вовсе не обратил внимания на общую скомпановку частей и, рассмотрев порознь каждую из этих частей, был уверен, что видел уже и целое, конечно, из них состоявшее. От него ускользнуло самое главное: эта общая бегучесть всех линий здания, пересекавшихся так, что у всякого смотрящего на них невольно пробуждались какие-то особенные чувства, не имевшие ничего общего с линиями как геометрическими протяжениями. И в храме, им так подробно, детально изученном, он ничего не понял. Он не понял того замысла, который был некогда в него вложен, всеми ощущался непреодолимо и заставлял эти необозримые толпы народа, оставляя самые нужные дела свои, приходить под его своды и, на минуту ощутив в себе могучую мысль, возвращаться с новыми и освеженными силами к своему труду, заботам и страданиям.

В поколении, которое сетует теперь, что оно оставляется, была эта же главная ошибка. Оно было хлопотливо, зорко, ежеминутно деятельно. Но в том, к чему оно прилагало свою деятельность, оно ничего не поняло. И вместо того чтобы своим неустанным трудом залечить, наконец, все раны, покрыть тысячелетние страдания – оно разбередило эти рапы, увеличило эти страдания. Послышался, наконец, крик, почувствовалась ненависть – и люди, которые думали, что они станут для человечества как боги, стали только грудой черепков, с презрением отталкиваемых. В жизни, в природе человека, в окружающем его мироздании это поколение поняло только одни подробности и вовсе упустило то главное, что их связует, формирует в разбегающиеся группы и оживляет собой. Неполнота знания, при его верности; отсутствие в этом знании самых глубоких и значительных частей – это было самое важное, чего сходящее с исторической сцены поколение не заметило в себе. И уже из этого, как вторичное, вытекла грубость всех чувств и отношений, в которой так часто и справедливо его упрекают. Все искажающая, все живое мучащая деятельность его была естественным завершением этого поверхностного внимания ко всему живому.

III

В человеке, со стороны должного, они поняли только его потребности; в жизни увидели только игру слепых отношений, которые не могут не улучшиться, если к их направлению будет приложено сознание; в целом мире заметили только протяжения, которые можно измерить, исчислить и, сообразив подробности, – понять остальное в нем, как их простую сумму. Во всем, к чему они обращались, они надеялись и хотели найти только соответствия другим сторонам своей природы. Те сухие, бледные формы человеческого существования, которые впервые были замечены и описаны Аристотелем, потом дополнены Бэконом, – эти формы, в самом существе человеческом задевающие лишь часть, – они думали, охватывают и части, и целое всего мироздания. Общих, разбегающихся и пересекающихся линий, которые бы открыли им главный смысл этого мироздания, они не заметили, все только *анализируя* его; напротив, себя самих и то, из чего слагается их жизнь, они не поняли и не узнали до конца, все только *синтетически* слагая и перелагая жизнь человеческую по грубым потребностям человека. Эта неумелость отнестись мыслью к предмету и была главным источником неполноты их знания. И в самом деле, категория мышления, правильно развивающихся понятий, есть едва ли единственная, по которой создана природа. В какие логические формы может быть уловлено чувство радости, которое мы порою испытываем?

И, однако, эти акты нашей душевной жизни суть такая же действительность, как и то, что мы видим или осязаем: они суть части природы, которую мы хотели бы постигнуть только своим умом. И в самой природе этой, которую мы надеемся охватить только научными формулами (то есть подвести всю под категорию мысли), – разве мы можем утверждать, что в ней нет ничего подобного этим актам, если именно ее продолжительное созерцание и смущает, и тревожит, и неизъяснимо волнует нас? Эти чувства, пробуждающиеся в нас в ответ на впечатления природы, чему в ней отвечают, когда мыслимое в ней только мыслится, опасное – угрожает, или, наконец, благотворное – приносит пользу? Не ясно ли, что если всякому ощущению есть соответственное ощущаемое, как следствию есть сообразная причина, то и те особенные, не укладывающиеся ни в какую форму мысли и волнения, которые всегда и всюду испытывали люди при созерцании мироздания и которые они выразили в своей поэзии, в своих религиях, *имеют также в самой природе нечто отвечающее себе*, хотя бы это отвечающее было так же мало уловимо для определения или даже просто выразимо в ясном слове, как, например, то, что выражено в мелодии, мало может быть передано в рассказе или изложено в рассуждении. Мы здесь коснулись одного соответствия, а между тем природа вся состоит из них, и ничто другое, как эти соответствия, не проливает такого света на ее цельность. Опуская их из виду, занимаясь лишь изучением причин и их действий, целая школа мыслителей, и за ними наше старшее теперь поколение, лишили себя одного из самых могущественных средств проникновения в природу и даже простого знания множества ее подробностей. И в самом деле, из этих последних каждая есть только часть иного, и, как таковая, она полна бывает отражений в себе и этого иного, и других частей его. Нередко ни части эти, ни целое, в которое они входят, не бывают доступны прямому наблюдению, и между тем знание их важно и необходимо. Всматриваясь же, с чем могла бы быть в соответствии наблюдаемая нами часть, мы приблизительно, а иногда и точно можем открыть и узнать и недостающее целое, и его остальные части.

Все сказанное яснее и убедительнее станет, если мы возьмем какой-нибудь пример. Так пусть перед нами находится какой-нибудь обрывок кривой линии. Всматриваясь в него, мы можем заметить, что кривизна его или правильно изменяется, или остается всюду одинаковой. В последнем случае мы умозаключаем, что он составляет дугу круга с определенным радиусом и определенным же центром. По обрывку, уцелевшему пред нами, всматриваясь в его кривизну, мы без труда находим и этот центр, и этот радиус и, наконец, отыскиваем полный круг,

хотя все это более не наблюдается нами. Но это все отражается в искривлении той маленькой линии, которая одна теперь перед нами и которую мы поняли как часть. Таким образом, связность природы и ее цельность ни через что не может быть видима так удобно, как через это изучение в ней соответствий; только последние образуют собой истинные, хотя и не ощущаемые *границы всякой вещи и явления*, далеко преступающие их осязаемые, грубые границы, одни доступные грубому прямому наблюдению. Через эти именно, одной *мысли* открывающиеся, границы и происходит взаимодействие вещей, которые иначе в своих грубых формах лежали бы всегда неподвижно друг возле друга, толкаясь или давя одна другую и более неспособные ничего произвести. Два факта – химического сродства вещей и всемирного притяжения – именно здесь и находят себе хотя какое-нибудь объяснение. «Причина действует только там, где она есть», – повторяли схоластическую и, по-видимому, очень точную формулу при открытии Ньютоном его закона и не могли понять, каким образом одно тело, здесь находящееся, может действовать на другое тело, от него удаленное; причем границами предмета или явления, составляющего причину, считали его физические, внешние очертания. Но где границы обрывка линии, пред нами лежащей? Ясно, что, сверх тех точек, которые в ней еще не стерты, еще не успели исчезнуть, от нее идут другие, неощутимые ряды точек, которые, взяв карандаш и присматриваясь к сохранившемуся обрывку, мы безо всякого затруднения восстановляем около него – и линия в действительности оканчивается только там, где оканчивается круг, к которому она принадлежит. Подобным образом и во всемирном тяготении проявляется связанность всей вселенной, и взаимное действие в ней отдаленных друг от друга тел происходит потому, что они, как части в великом целом, все ощущают друг друга через те невидимые, неощутимые границы свои, которые далеко преступают их геометрические очертания и могут быть открыты только уму. Так в обрывке дуги, пред нами лежащей, если бы мы стали медленно разгибать ее, – медленно же удалялся бы от нее центр круга, к которому она принадлежит, и при ее окончательном выпрямлении отошел бы на бесконечность. А между тем физически мы не коснулись бы этого центра и, заставляя отходить его, – вовсе бы его не видели.

Когда были открыты физические элементы, то, изучая их сродство, ученые думали вначале, что они влекутся друг к другу, потому что они одинаковы и их семейства схожи. Однако при детальном изучении каждого элемента порознь они с удивлением заметили, что свойства влекущихся взаимно элементов скорее характеризуются отношением противоположности. Между тем в этом именно и лежит источник самого сродства. Нельзя представить себе, что природа составилась из элементов, как самостоятельных, в себе самих замкнутых тел, которые от начала лежали друг возле друга, потом стали взаимодействовать и через это образовали все тела. Элементы суть продукты насильственного расторжения тел, и эти последние вовсе не позднее их: они – их первое в том смысле, что, ранее, чем элементы появились изолированно, были уже тела, в которые они входили. И оттого с такою силою, иногда взрывом, элементы соединяются. Взрыв есть показатель того чрезвычайного усилия, которое теперь повторяется и было употреблено раньше, чтобы разделить влекущиеся вновь друг к другу элементы. Из них есть многие, которые, несмотря на все усилия анализа, долгие десятилетия оставались скрытыми для человека, то есть они не отщеплялись от тел и, только благодаря чрезвычайному напряжению, при помощи особых и в высшей степени искусственных средств, наконец были удалены из своего всегдашнего гнездилища и предстали пред человеком изолированно. Таким образом, химическое сродство есть то же, что частное сродство, и вытекает из всегдашнего взаимодействия в целом (теле) его частей (элементов). Отсюда разнородность всего влекущегося. Уже в простейшем примере, который мы взяли для объяснения этого явления, – в обрывке геометрической линии, эта линия связуется, восстановляет около себя части не себе подобные, но от себя отличные: радиус, то есть совершенно прямую линию, и центр, то есть точку, находящуюся вне дуги окружности.

И наконец, если бы кто-нибудь, продолжая сомневаться в сказанном, все-таки утверждал, что целое непременно составляется из своих частей, а не потом на них разлагается, тот мог бы быть поколеблен в своем мнении сосредоточением своего внимания на своем собственном теле: в той первоначальной, одиночной клеточке, из которой развился весь его организм, какая часть его тела была заложена? Не ясно ли, что эта клеточка не была ни костью, ни мускульным волокном, ни частию нервной ткани, ни вообще каким-нибудь элементом его тела, а именно им целым, которое потом разложилось на элементы? Хотя, повторяем, клетка была только одна и на всем протяжении однородна, она ни из чего не составилась, но прямо отделилась от родительского организма. Итак, в этом примере мы с очевидностью наблюдаем, что целое может быть первее своих элементов, хотя несомненно состоит из них; подобным же образом, можно думать, от начала мироздания, при всяких высоких температурах, были только более и более разреженные пары воды, но вовсе не было отдельно друг возле друга лежавших элементов, которые, соединившись, образовали из себя воду.

В фигуре геометрической, как чистом протяжении, мы наблюдаем между частями только геометрическую связность; в телах физических эта связность есть и должна быть физическою; последняя и выражается в *действии*. Дуга круга лишь указывает в своей кривизне на положение центра и длину радиуса; но восстановить их, по строгим указаниям дуги, можем лишь мы. Это потому, что протяженность есть лишь сфера физической возможности, есть условие, при котором все предметы и явления только *могут* существовать; но действительность начинается лишь там, где протяженность наполняется протяжимым, т. е. веществом. Там, где оно уже появляется, не нужна рука постороннего существа, чтобы указываемое осуществить, намеченные точки наполнить каким-нибудь оттеняющим их веществом. Здесь указание заменяется осуществлением, намечивание – действительным восстановлением около себя целого. Когда химический элемент с силою притягивает к себе недостающие ему (до целого тела) другие элементы, располагает их около себя и получается цельное тело – пред глазами наблюдателя происходит то же явление, как если б из средины дуги, пред ним лежащей, вытянулась линия и, остановившись на известном расстоянии от этой дуги, из точки своей остановки, повторилась по всем направлениям бесчисленное число раз, с каждым разом прибавляя своею оконечностью новую точку к прежней дуге, пока она не сомкнулась бы в полный круг. Природа в наблюдаемых формах своих подобна множеству таких обрывков геометрических линий, которые, по-видимому, изолированы, но в действительности все сцеплены между собой и взаимодействуют чрез не наблюдаемые, только мыслимые добавления себя до целого. Здесь и лежит источник физических сил. Их разнородность, их численность зависит от того, что разнородны и многочисленны самые соответствия, в которых находятся между собой части вселенной. Но что все они вытекают из одного какого-то источника, имеют в своем основании какую-то одну особенность в сложении всей природы, – это видно из того, как все-таки много одинакового в проявлениях самых разнородных сил.

IV

Человек, как часть природы, не составляет в этом отношении исключения; но, вместо бедных и однообразных соответствий, которые связывают каждый физический предмет с окружающею средой, соответствия человеческой природы со всем миром и многочисленны, и разнородны. Как организм, как ряд сгруппированных веществ, он соотносится со всеми физическими стихиями природы. Но, сверх этого грубого соотношения, мы находим в нем другое, неизмеримо более глубокое: в его душу как бы вложены завитки всего мироздания и, повинуясь их естественному расположению, он влечется так своим умом и своим чувством ко всему же мирозданию – воссоздает его в поэзии, понимает чрез науки и философию, стремится разгадать его сокровенную сущность в своих религиях. Нет ничего в природе, не исключая самых

тонких и неуловимых ее изгибов, что, так или иначе, не находило бы доступа в человека: и это значит, что в нем самом уже есть предчувствие, предугадывание всего, что лежит в природе. По справедливости, отношение его к ней не только сходно, но и во всей строгости повторяет собою отношение к многолетнему ветхому дереву плода, который наконец вызрел на нем и упал на землю: в скрытой возможности, в законах и силах своего роста, этот плод заключает все, что есть и в дереве, – все элементы его, и все законы и силы, и подобную же жизнь. Мир духовного творчества, вырастающий из человека, есть только последствие этого отношения его к природе.

Понять это особенное существо, и притом будучи им самим, так плоско и бедно, как понят был человек людьми нашего старшего поколения, – это есть одно из самых удивительных явлений истории. Как будто люди эти никогда не задумывались ни над мыслью своею, пи над движениями своего сердца, пи, наконец, над своим рождением и ожидавшею их смертью. Это были дети, которые, найдя в поле яблоко, поняли только то, что его можно съесть; какие-то трудолюбивые муравьи, которые, со всех сторон таща к себе былинки и все, что облетало с природы и было еще прекрасно, знали только одно, что из всего этого можно построить их муравейник. Страшная бедность мысли, отсутствие какой бы то ни было вдумчивости – вот что сильнее всего поражает нас в этом поколении, одном из самых жалких и скудно одаренных в истории. Не беспричинна была и какая-то странная недолговечность его, и это отсутствие хотя бы одного гениального дарования на всем его протяжении, и какое-то органическое отвращение, которое выказывало к нему богато одаренное поколение 40–50-х годов[22]. С непоколебимостью детей, съедающих яблоко, с твердостью муравья, который, не развлекаясь никакою мыслью, дырявит живое зерно, чтобы положить его в свою кучу, и эти люди перерывали все естественные отношения в сложившейся по глубоким законам жизни, чтобы воздвигнуть среди этой жизни свою кучу-жилище. Так как в богатой, многообразной и могучей действительности, выросшей из истории, не было и тени подобия их бедной и искусственной постройки, то естественно им казалось, что они «строятся в пустыне»[23]. Как к песку пустыни, который лепится с глиной в кирпичи и кладется то в основание, то в вершину здания, – они относились к живым людям. И себя не жалели они при этой постройке, лепились, надрывались и падали, как муравьи; не жалели также и других людей, вовсе не знавших, что у них делается. Отсюда – вся боль, которую вызвала эта деятельность. Повторяем, не грубость чувства, но ошибка узкого ума есть главное, что причинило все пережитые нами недавно несчастия. Напрасно окружающие люди говорили, что они вовсе не тем живут, что приписывают им «строители», напрасно о том же говорила им вся история – они слышали все это, но ничего в этом не поняли. Им все казалось, что они лучше всех других узнали человеческую природу, хотя в действительности они только беднее всех ее поняли. Они взяли minimum человеческих потребностей и поэтому minimum'у, с ним сообразуясь, стали возводить здание, которое для них самих было бы тесно и узко (если б им пришлось в нем пожить подольше) и куда они хотели бы навеки заключить все человечество. Эта мечта лишенной воображения мысли стала их инстинктом, нормой их деятельности и мышления. Все, что выходило за ее узкие пределы или что ей противоречило, они считали как бы за призрак Майи, который нужно разорвать, уничтожить, дабы прозреть чрез него в действительность. Народы, тысячелетия, их борьба и страдания – все это было для них менее ощутимо и убедительно, нежели то чувство страшной боли, которое поднималось в их бедном уме всякий раз, как только пытались пошевелить в нем как-нибудь не так овладевшую им идею. Здесь, в этой душевной скудости, и заключалось

[22] Тургенев, который, даже и в последние годы, не всегда мог скрыть это чувство (см. его переписку); Достоевский – во всех своих произведениях; Л. Толстой в отношении к сожалеемой им, но лишь в ее уродстве, фигуре Николая Левина; наконец, Гончаров в лице Марка Волохова. Только само это поколение как прежде, так и теперь всегда восхищалось собой.

[23] Выражение г. Н. Михайловского, поддерживаемое и «Вестником Европы» (см. 1891 г., май, статья «Писатель 60-х годов»).

главное зло, которое могло перестать искажать историю лишь тогда, когда ее вечно растущий ствол покроется новым налетом листьев.

V

И эта смена зеленого убора снова совершается. Напрасны жалобы и сетования опадающих листьев: им не повернуть солнца на зиму. На себе самих, на своей судьбе, хотя бы в последние минуты своего трепетания, они могли бы понять сколько-нибудь ту природу, в которой выросли и на которую никогда не хотели раскрыть глаз.

Мы снова обратимся к сравнению, которым начали эту статью. В храме, в который вошли два путешественника-друга, было для них обоих открыто одно и то же; но увидели в нем они различное, и на этом увиденном и понятом они разошлись навеки. Кто из них был более прав? Тот, кто посмотрел полнее. Ведь и второй путешественник, так долго простоявший в задумчивости среди храма, видел в нем все, что видел и первый, – и высоту стен, и материал, из которого они выстроены, и его приблизительную стоимость; но это было не все, что он увидел здесь. По причинам, за которые ему нужно было благодарить природу-мать, его глазу дана была восприимчивость к гармонии красок и линий, а его слуху – восприимчивость к сочетаниям звуков. Не только шум и не простые переливы зеленого и синего цветов различил он, стоя здесь, но понял выразительную музыку и исполненную смысла живопись и архитектонику частей. Что было делать ему, если его бедному другу не дано было различить всего этого: он не мог выйти вслед за ним. И между тем, когда они снова встретились на улице, ему было чрезвычайно трудно что-нибудь объяснить этому другу. Здесь сказалось простое несоответствие задатков, которые от начала были вложены в их души. Если б он указал ему на сводчатые линии колонн, замыкавшихся в купол, его друг ответил бы, что эти колонны действительно сводчаты и что наверху купол; но что было дальше объяснять ему и как объяснять? Чувство, выраженное линиями здания или красками картины, прошедшее когда-то через душу мастера и вновь пробуждающееся потом во всяком, кто умеет смотреть на его создание, – вот чего невозможно передать другому.

Кстати, в этом явлении, столь непонятном одному и понятном другому, удивительным образом отражается общий смысл двух мировоззрений, из которых одно теперь становится на место другого. Мы уже сказали, что грубость мысли, способной лишь к поверхностным наблюдениям и заключениям, была главным недостатком людей 60–70-х годов и что последствием этого недостатка была неверность их воззрений как на окружающую природу, так и на самого человека. В частности, что касается последнего, он считался этим поколением простым продолжением физической природы, наиболее сложною комбинацией ее элементов и сил. Его дух, его идеи и верования, его стремления в истории – все это считалось только производным от его физических данных *на основании того, что с изменением этих данных всегда наступало изменение психической деятельности*. Но вот пред нами нарисованный образ, и всякий раз, когда мы на него смотрим, в нас пробуждается чувство неопределенной грусти. Это чувство, нам передающееся от картины и уже в ней заключенное, есть по отношению к краскам, которыми она нарисована, то же, что душа в человеке по отношению к телу, в организации которого она выражена. Это – слабая, мерцающая тень, которая в своем отражении верно показывает взаимные границы двух связанных существ, на которые взглянуть прямо нам никогда не суждено. И в самом деле, не изменяется ли чувство, выраженное в нарисованном образе, всякий раз, как только изменяется в нем какое-нибудь расположение красок? Вот кто-нибудь берет кисть и подходит к нему: по мере того как кисть снимает что-нибудь в краске или сдвигает прежде разделенные линии – непонятным образом чувство, прежде проникавшее картину, начинает померкать и померкать, оно становится менее отчетливо, труднее воспринимается смотрящим и, когда перемещение красок делается значительным, – пропадает окончательно. Мы имеем

перед собой краски – те же, какие и были, – но иначе размещенные, из которых совершенно исчезло то, что прежде светилось сквозь них и так привлекало и волновало каждого. Теперь они могут быть размещены как угодно, никакой принудительной необходимости в их расположении нет: это – только безжизненное вещество, свободно движущееся туда и сюда. Но прежде они были связаны в своем расположении. Что их связывало? Чувство, прошедшее некогда по душе неизвестного мастера, которое он захотел выразить, и для этого собрал и расположил краски ему известным, определенным способом. Именно это чувство – *акт живой человеческой души* – необъяснимо завязалось в вещества, которые, по-видимому, только известным образом поглощают и отражают лучи спектра. Есть ли этот психический акт только последствие, вытекающее из размещения красок? Нет, он по времени предшествовал этому размещению, и никогда бы не произошло последнего, если бы не было нужды закрепить этот акт. Куда же исчезает он, когда картина погибла? В гибели ее, в стирании красок мы видим обратное геометрическое передвижение веществ, некогда сдвинутых для восприятия психического акта, который предшествовал этому движению. *Там*, мы знаем, этим сдвиганием не был создан психический акт, – и он не мог исчезнуть здесь – в обратном перемещении красок, он просто стал неощутим, не выражен более. Но в душе, одно движение которой он составил когда-то, он запомнен и продолжает быть. Здесь, в этом явлении, каждая черта которого нам известна и понятна, мы с очевидностью наблюдаем, как самая тесная обусловленность двух существ совершенно соединима с их полною разнородностью, и также видим, как появление и исчезновение пред нами одного существа в зависимости от изменения другого есть только обнаружение и скрытие того, что в действительности было прежде этого обнаружения и всегда после него останется. Простая ошибка в умозаключении была причиной, что мир поэзии, религии и нравственности остался непонятым и навсегда закрытым для поколения, которое должно бы сетовать на себя только, а между тем сетует на других.

Европейская культура и наше к ней отношение

I

В июньской и июльской книжках «Вестника Европы» за 1891 г. рубрика «Из общественной хроники», всегда наиболее живо отражающая текущие интересы журнала, посвящена обсуждению и осуждению разных замечаний, высказанных в последнее время нашими публицистами относительно западноевропейской цивилизации.

«Запад гниет, запад разлагается» – такова была, говорит почтенный журнал, пятьдесят лет назад одна из любимых формул только что зарождавшегося славянофильства. *Теперь славянофильство как организованное целое более не существует. Его основатели давно сошли со сцены; исчезли и непосредственные их преемники*, поддерживавшие так или иначе первоначальные традиции школы; *остались только кое-какие обрывки некогда стройного учения*, повторяемые другими людьми, в другом тоне и с другою целью. Уцелела в этом смысле и формула, приведенная нами выше. По-прежнему чувствуется в ней *высокомерное отношение к «чужим» и «чужому»,* по-прежнему слышится *благодарность судьбе, сделавшей нас иными* – лучшими, более сильными и свежими, чем наши «ближние» (июнь, 1891 год, с. 882).

В этом отрывке, как в крошечном лоскутке огромного покрывала, которым вот уже несколько десятилетий писатели враждебного лагеря силятся задернуть от общественного внимания славянофильскую теорию, ясно можно видеть истинную причину постоянной безуспешности подобных усилий: в сфере мысли можно бороться только мыслью, но ничего нельзя сделать словами, как бы много их не было набрано. И в самом деле, в приведенной тираде все слова стоят как-то врозь, едва цепляясь друг за друга грамматически и совершенно не удерживаясь в какой бы то ни было логической связи: какое отношение между смертью основателей славянофильства и их непосредственных преемников и самою теорией, ими завещанной? Кто и когда «организовал» славянофильство и что вообще могут означать слова «организованное славянофильство»? Но написавшему все эти непонятные выражения кажется, что в них есть какая-то убедительность, и в неприятном учении он уже видит «обрывки».

В том и заключается сила славянофильства, что, будучи идеей немногих избранных умов и имея против себя всю огромную массу образованного общества, оно всегда критически относилось к своему содержанию, постоянно пополняло его и очищало. Отсюда такая органичность в развитии этого учения, постоянный преемственный рост, какого и тени мы не находим в учении «западников», и до сих пор все повторяющих общие места, встречавшиеся уже у Белинского и его современников[24]. На какой труд, подобный, например, «России и Европе» покойного Н. Я. Данилевского, *по сложности, по системе развиваемой мысли*, могут указать «западники» в своем лагере? Где у них эта страстность и чистота убежденности, какие есть у Константина Аксакова? Эта прелесть и сила речи, которою, – независимо от всякого содержания, мы любуемся невольно в «Национальной политике» и других многочисленных статьях К. Леонтьева? Поистине, силою и разнообразием дарований, богатством и сложностью мысли, высоким уважением к Европе и страстною любовью к своей родине славянофилы так ярко выделяются на тусклом фоне нашего общества, что, как бы ни было многочисленно последнее, раньше или позже ему придется только преклониться перед этими избранными натурами, которые оно из себя выделило. В этом ряду мыслителей, художников и поэтов, соединенных между собою единством воззрений и симпатий, мы находим такую твердость убеждения и силу

[24] Вообще в развитии «западнического» учения нет ни преемственности, ни роста, и это выражается в простом факте, что история его не написана и не может быть написана. Напротив, история славянофильской теории существует.

преданности, о которую всегда разобьется всякий праздный смех, к какому уже с самого раннего времени стали прибегать их противники. Высказанное впервые И. Киреевским, развитое и углубленное Хомяковым, возведенное в систему Н. Я. Данилевским, учение это продолжает развиваться и до сих пор. В замечательных трудах К. Леонтьева мы видим последнюю трансформацию этого учения, и если бы западническая критика не ограничивалась повторением общих мест, *если б она действительно имела силы бороться* – она давно подвергла бы систематическому обсуждению идеи, высказанные последним в книге «Восток, Россия и Славянство» или в брошюре «Национальная политика как орудие всемирной революции». Мысль, кажется, заслуживает того, чтобы к ней отнеслись с мыслью. «Я праздновал бы великий праздник радости, если бы кто-нибудь несомненными доводами убедил меня, что я заблуждаюсь», – сказал этот писатель в одном из своих трудов; и неужели это сознание своего бессилия отказаться от того, что, быть может, составляет мучение жизни и, однако, истинно, – не в состоянии пробудить в окружающих людях интереса к этим особенным и печальным мыслям очевидно сильного ума и честного сердца?

Но если таково отношение к живой мысли в недрах самой литературы, то не утрачивает ли эта литература всякое право на какое-нибудь особенное уважение общества, руководить которым, однако, берется? «Спор выясняет истину», – повторяется в печати постоянно, и этим она высказывает требование для себя свободы и влияния. Но вот истина высказана: она ярка и значительна; но только потому, что она вместе и неприятна, она заволакивается от общества молчанием и погибает под тяжестью голосов, сегодня интересующихся одним, завтра другим – без которых, быть может, эта важная истина была бы услышана обществом и обдумана. В частности, «Вестник Европы», который вот уже четверть века держит среди нашего общества знамя западноевропейской культуры, если бы он хоть сколько-нибудь понимал обязанности, вытекающие из положения, занятого им в литературе, – давно и первый заговорил бы он об этих идеях, столь глубоко и тревожно осуждающих судьбы проповедуемой им культуры. Не может же орган печати, если только он действительно серьезен, упустить повод обстоятельно высказать свои взгляды, когда сильный соперник вызывает его на сильный отпор? Но вот, по предмету, где он должен бы высказываться, он ограничивается остроумием и, вместо этого, на десятках страниц излагает книги, которые могли бы быть изложены во всяком другом журнале, теперь, или после, или даже никогда – все равно. Покойный Шелгунов или г. Скабичевский, может быть, добрые люди и очень усердные писатели; но к идейному содержанию нашего общества, насколько оно уже высказано, и гораздо лучше, другими людьми, они не прибавили ничего. Итак, их можно оставлять, как высказывающих, быть может, верные мысли, в покое; но что же в их мнениях излагать?

II

Мы заметили выше об органичности, которой отличается развитие славянофильской теории. И действительно, все ее отдельные элементы являлись сначала в форме догадок, предчувствий, необоснованных воззрений и требований, и только потом, путем нового движения мысли, все это слагалось в твердые члены связной системы. Можно сказать, что славянофильство не изобретено, не придумано, но философски открыто: до такой степени оно соответствует текущей действительности и истории – так оно оригинально, настолько преобладают в нем начала научного объяснения над догматическим требованием. Частный случай, о котором мы заговорили, как нельзя лучше подтверждает общую истину. Недоверие к западному прогрессу, слова о «гниении» Запада действительно уже много десятилетий не сходят с уст славянофилов. Но одно указание на недостаток в Европе некоторых свежих и здоровых чувств, какие сохранились у нашего народа, или даже указание на резкую ложность и несправедливость многих распространенных там понятий и учреждений, конечно, не было бы еще подтверждением

столь общей мысли, что западная культура, в ее *целом,* падает или что прогресс вообще есть зло. Истинный взгляд на все подобные указания должен быть тот, что они выражали бессильное желание чем-нибудь подтвердить смутное и, однако, очень сильное предвидение, чувство. Это были вопли Кассандры, совершенно лишенной каких-нибудь средств убедить тех, кто над нею смеялся. Но вот прошли десятилетия, и вопли оправдываются, а из смеявшихся еще смеется только тот, кто уже совершенно ничего не понимает и ничего не способен видеть.

В лагере прежних славянофилов, если б услышан был человек, говорящий, что две-три проигранные битвы, которые заставили бы нас навсегда отречься от западных славян, были бы очень дешевой ценой, какой мы могли бы купить это драгоценное для нас отречение, – в лагере ранних славянофилов этот человек, вероятно, был бы сочтен величайшим врагом Славянства и противником всей славянофильской партии; и, однако, так велико богатство внутренних задатков этой теории, что именно К. Леонтьев является одним из самых глубоких исполнителей славянофильской идеи. Политическая сторона этой идеи, над которою так много работал И. С. Аксаков, о которой шумели в свое время д-р Ригер и множество других, – все это осело, как пыль, пред истинно великою задачей: *продлить культурное существование человечества чрез отсечение славянского мира от очевидно разлагающейся культуры Западной Европы*. Если у человечества в его целом, у культуры, у цивилизации, у истории просвещения был когда-нибудь друг, боровшийся за все это, не жалея своего имени, своих сил, произнося в минуты отчаяния самые безумные о них слова, способные покрыть произнесшего только позором, то это – мало известный, пройденный у нас молчанием писатель, труды которого мы только что упомянули. Он нашел объективные признаки всякого разложения и всякого развития и, приложив их к западноевропейскому социальному строю, – по ним определил его несомненное падение. Отринув показание субъективного чувства, которое у каждого человека изменяется сообразно темпераменту, воспитанию и окружающей среде, он чрез это одно поднялся над всеми партиями и стал на высоте наблюдателя-мыслителя. С этой высоты он открыл, что как в природе, так и в истории человечества *процессы развития имеют одно течение*: восхождение от первоначальной простоты, слитности – к многообразию форм, в одно и то же время раздельных и связанных прочно единством общего типа; далее, непродолжительное стояние на высшей точке этого многообразия форм и, наконец, падение вниз, вторичное и более быстрое нисхождение к прежней слитности, однообразию всех частей. Племя, в котором возникает государственная организация, появляются сословия, расцветает религиозный культ, военные подвиги, наконец, поэзия и философия, – вот пример восходящего развития; минеральная масса, слагающаяся в определенные грани, не переступаемые ни для одной частицы вещества, замкнутая в строгой геометрической форме, – вот еще восходящее развитие; наконец, сюда же относится последовательное образование из туманного звездного пятна центрального светила и системы планет, распадение каждой из них на атмосферу, воду и сушу и выделение последней над водой в форме материков. Всюду, куда бы ни обратили мы взгляд, будут ли то космические массы, наша земля и населяющие ее организмы, наконец, человеческий дух и его история, – везде восхождение жизни, повышение развития сопровождается *распадением прежде слитной массы на свое образные и обособленные части*. И напротив, все в природе, разлагаясь, проходит чрез процесс вторичного смешения частей и упрощения всего своего сложения: в гниющем трупе границы органов смешиваются, жидкости разливаются по всему телу. Все становится однородною массой, которая, разложившись на свои элементы, сливается, наконец, с окружающею физическою природой; также утрачивает свои грани и твердые утлы расплывающийся кристалл, который готов исчезнуть в растворяющей его жидкости; и в солнечной системе, если бы каким-нибудь образом ослабли законы, принудительно удерживающие каждую планету в своей орбите, вскоре бы наступили хаос и смешение, и простая груда однообразных развалин заменила бы сложный, цветущий разнообразием мир. Наконец, государство, умерев, оставляет на своем месте неустроенную этнографическую массу, столь

же простую, лишенную внутренней морфологии, как и та, которая предшествовала его возникновению. Итак, сложность внутреннего содержания есть показатель внешней крепости и общего жизненного напряжения во всем, что существует; напротив, возвращение к простоте, начинающееся смешение элементов есть симптом умирания.

Возможно ли сомневаться, что все это действительно так? И неужели раздражение страстей в борющихся теперь партиях так велико, что в самом деле наступило время, предвиденное одним политиком, когда аксиомы геометрии будут оспариваться, раз это потребуется для собственной победы и для того, чтобы не сдаться правому, но ненавидимому противнику?

III

С конца прошлого века события истории развиваются так быстро, что в самом деле трудно не растеряться, следя за ними. Европа конца XIX века не имеет ничего общего с тою, в которой готова была разыграться французская революция. К. Леонтьев первый указал истинную и самую общую точку зрения на эту революцию с той бесстрастной высоты, где уже нельзя различить отдельных голосов и партийных интересов, где течение истории представляется лишь как ряд восходящих и нисходящих биологических процессов; он усмотрел впервые тот окончательный результат, к которому со времени этой революции направляются все дела Европы: уравнение классов и слияние этих государств в компактную массу европейского человечества – с ослаблением и потом уничтожением какой-либо организации внутри. Личность и человечество, как некогда атом и вселенная, остаются единственными целями исторического процесса, который уже открылся. С достижением их человечество будет так же дезорганизовано, так же стихийно и первобытно, как и тогда, когда история только еще готовилась зародиться, – с тою разницею, однако, что тогда оно носило в себе задатки для такового зарождения, теперь же будет пусто от них. И в самом деле, как горизонтальное (по сословиям), так и вертикальное (по провинциям) расслоение наций уже повсюду исчезло в Европе, и личность движется в ней свободно, соотносясь только с государством, к которому она принадлежит. Права гражданина, равные для всякого и везде, суть единственные еще остающиеся связи в государстве, где все индивидуальное, особенное, своеобразное, блекнет и исчезает, не терпимое более никем. Эта нетерпимость, это всеобщее отвращение к *особенному* в правах, в обязанностях, даже просто в характере, есть только показатель неудержимого уклона истории, по которому текут желания всех людей, по-видимому, личного происхождения. Одно государство, повторяющееся в типе всех остальных, и одна личность, воспроизведенная в миллионах подобных, – это есть историческая задача времени, успешно осуществляемая партиями, повсюду наиболее могущественными. У К. Леонтьева опущено одно наблюдение, которым он также мог бы подтвердить свою мысль: границы государств уже не имеют теперь той твердости – они не так резко разделяют политические тела, как прежде. Той абсолютной автономности каждого государства от системы всех остальных, той особенной неприкосновенности границ, в силу которой они некогда были непереступаемы для чужой воли, – всего этого уже нет более. Политические границы, как и административные (между провинциями), – вовсе уже не грани расчлененной народной жизни, а скорее простое ландкартное деление. Их обозначает пунктир на бумаге, но не народное чувство и даже не народные интересы. Громадное множество международных обществ, международные же конвенции, всемирные рабочие союзы, наконец, рельсовые пути и согласованные тарифы – все это похоже на стальную паутину, которая крепнет с каждым днем и все более и более соединяет прежде разнородные нации в одну слитную массу, части которой скоро будут неразличимы. В самом характере главной власти, которою резче всего обозначается автономность государств и народов, произошла сильная и, к удивлению, незамечаемая перемена: король – это не полководец больше, не герой и не святыня своего народа, олицетворяющий в своей воле, в своих дарах и даже в капризах полную личность своего народа

с его духом и страстями. Это – только главный администратор в стране, который платится, как и все другие, когда действует неумело. Об его личности, об его пороках или добродетелях не слагаются более легенды, и все это даже мало интересно: интересно содержание деловых бумаг, которые текут от него в большем обилии, нежели от кого-нибудь другого в государстве. Таким образом, и здесь даже сказывается общий процесс истории: все обезличивается, все принижается и смешивается – «все умирает», говорит К. Леонтьев. И что же можем мы возразить против всего этого? Но если так, то все наше отношение к *прогрессу* меняется, и отношение к западной культуре делается невольно исполненным опасений. Пусть она величественна, пусть она исполнена мудрости: это не имеет ничего общего с разложением, которому подлежит и всякое величие, и все мудрое. Колоссальный организм, загнивая, дает только более удушливые миазмы, и все живое должно, избегая смерти через заражение, сторониться от него. Повторяем: только прочитав многочисленные статьи К. Леонтьева, освещающие с разных сторон, на разных частных предметах, все одну и ту же истину – *одну и главную в наше время*, – впервые начинаешь понимать грозный смысл всех мелких, не тревожащих никого, микроскопических явлений действительности: там вскроется пузырек, там ослабеет ткань, и, кажется, колосс всемирной культуры еще неподвижен, а между тем с ним совершается самое важное, что когда-либо совершалось. Когда он дрожал, в прежние века, под напором турок или арабов – это было склонение молодого организма под напором ветра, дувшего со стороны; теперь вихри ему не страшны, да и как-то странно они совсем замолкли. Только удушливый зной стоит кругом; и будем ли мы бросать камни в того, кто первый, потянув в себя воздух, сказал нам, почему в самом деле атмосфера так удушлива?

IV

«Вестник Европы» ничего этого не понимает: ему все мерещатся дворянские захваты, и, на страже европейской цивилизации, он считает долгом для себя их оспаривать; он борется, он напрягает силы, он недаром «журнал политики». Он не знает, что со своею бедною «политикою» он только маленький гноящийся пузырек, вскочивший на точке соприкосновения здорового организма с больным. Но, кто это поймет, конечно, не будет его оспаривать: наивность, как и все другое, должна же в чем-нибудь выражаться. Нигде, ни в исторических, ни в политических созерцаниях своих маститый журнал не возвысился над плохими учебниками, где объясняется, что «за временами преуспеяний» следуют «времена упадка» и энергическое движение вперед вызывает потом «реакцию». Приложить эти заученные параграфы к живой и текучей жизни – вот все, что он может.

Но истинною русскою мыслью в ее новых явлениях руководит впервые столь яркое и столь несомненное сознание *положения своего народа в истории*. Нет при этом никакой враждебности к Европе: есть простое сознание того особенного фазиса, через который проходит ее жизнь. Это сознание есть результат того, что оставлено прежнее скользящее к ней отношение, это жалкое восхищение ее техническими выдумками, ее «усовершенствованиями» и всем внешним блеском, богатством и могуществом. Не этим живет человек, и не этим движутся, крепнут и сохраняются в истории народы. Не этим жила и Европа, когда она возрастала. Ее текущему фазису, какому-нибудь полустолетию, противополагаются пятнадцать веков ее же истории. Странные минуты, в самом деле, переживает она: столькое создать, столькое накопить, так долго и страстно любить это накопленное и, на исходе пятнадцатого века своего существования, – вдруг забыть цену всего и начать разбивать столь бережно сохраненное. Что же: будет ли проявлением любви и уважения, если и мы, вслед за ослепнувшим безумцем, будем раздирать на части его сокровища, поджигать его ветхий дом и плясать скверный танец на развалинах прошлого счастья и величия? Так мог бы поступить раб, но не друг. И истинное уважение наше к Европе выразится именно в том, что – унося ее неоцененные сокровища к себе,

на них воспитываясь и развиваясь, чтобы стать со временем хоть сколько-нибудь достойным преемником ее в истории, – мы совершенно и окончательно отвернемся оттого, что она сделала за последнее время и еще готовится сделать, и, сколько будет в наших силах, смягчим те удары, которые она порывается, по-видимому, наносить самой себе. В прекрасных воспоминаниях покойного Буслаева рассказывается один интересный случай: гр. Строганов, с семьей которого он путешествовал, недовольный его совершенным неведением текущих политических событий, дал ему однажды, для ознакомления с ними, прочесть нумер «Аугсбургской Газеты». Но, несмотря на все усилия, юный энтузиаст Европы ничего не мог понять в нем – все события и лица, о которых говорилось в газете, были ему вовсе не известны и, главное, совершенно неинтересны. И, между тем, он изучал в это же время Тасса и Данта на острове Искии и даже одного итальянца познакомил с «Декамероном». Что же: приехав на родину, он менее в ней послужил Европе и менее любил ее, нежели, например, г. Евг. Утин или г. Арсеньев, которые уж верно умеют читать газеты? Этим примером и этим сравнением мы все сказали.

Красота в природе и ее смысл

В одной из книжек «Вопросов Философии и Психологии» за 1894 г. останавливает на себе внимание рассуждение нашего известного философа и публициста, г. Вл. Соловьева – «Красота в природе». Трудность предмета, которому посвящено оно, невольно заставляет прислушиваться к каждой мысли о нем; а когда мы знаем, что эти мысли принадлежат человеку испытанных способностей, наше внимание удваивается. И в самом деле, объяснить – почему звездное небо нравится нам более, нежели оно же в полдень, при ярком сиянии солнца[25]; отчего мы любуемся радугой или наслаждаемся пением соловья, – это не только важно в виду ежедневно испытываемых нами подобных ощущений и тесной связи их с поэтическим и художественным творчеством, но и труднее, быть может, нежели разрешение какого бы то ни было другого вопроса в науке. Здесь мы соприкасаемся с темною и обширною областью чувств, которые так неуловимы в своем зарождении и переливах, что иногда даже простая попытка закрепить их словом, передать другому в описании – представляется нам грубою и несовершенною; и тем менее ожидаем мы удачи, тем более опасаемся грубости, когда видим желание определить их сущность и причину. Вот почему нисколько не удивительно, что здесь резче, нежели где-нибудь, выразилось чрезмерное неравенство нашего (мы говорим о русских) эстетического и умственного развития. В то время как ощущения эти, в течение долгих столетий испытываемые нашим народом, нашли в темных недрах его и в более развитых его представителях поэтические способы выражения и иногда в несравненно высокой форме, – ни разу не нашел среди него достаточно сильной мысли, которая задумалась бы над этими ощущениями, анализировала их и попыталась объяснить.

Вот почему со всем недостающим, что есть в подобной попытке, мы готовы примириться, если в том, что она даст положительного, есть хотя какой-нибудь объясняющий свет. И это двоякое ощущение – удовлетворенности и сознания недостатка испытывается невольно при чтении только что называемой статьи. Почти повсюду автор ее не только открывает подступы к решению неизмеримо трудной задачи, но и восходя на них – бросает светлые мысли на все ее отдельные стороны. Некоторое единство в нескончаемо разнообразных проявлениях красоты, скрытая сущность того, что именно выражается в ней, – все это указывается им, определяется порой с удивительным искусством, и, прочтя ее, всякий получает хоть какую-нибудь возможность думать о том, о чем он раньше совсем и ничего не мог думать. Но этой положительной стороне сопутствует постоянно один недостаток, и он едва ли будет когда-нибудь совершенно возмещен в эстетике: мы говорим об особом характере доказательств, сопровождающих ее положительные указания, которые всегда оставляет возможность не принимать последние. И в самом деле, едва ли еще когда-нибудь будет открыта для науки область явлений, где основательные утверждения будут так же трудны, как в отношении явлений красоты, и где возражения были бы так легки. Обычные приемы доказательств, употребительные в других науках, почти не приложимы здесь; и вся убедительность утверждений основывается на *аналогиях*, на *уподоблениях*, – на том, что мысль утверждающего без *внутренних противоречий*, не изменяя самой себе и своей исходной точке, находит возможным касаться разнообразных сфер прекрасного. Если при этом она не встречает непреодолимого противоречия в самых фактах; если переходя от мира образов к миру звуков и от человеческого творчества – к окружающей природе, она нигде не обрывается, – мы уже внутренне сочувствуем ей, как бы ни были шатки и смутны ее основы: мы уже сомневаемся, не близка ли она в самом деле к истине, которой

[25] На звездное небо мы можем смотреть долго, не отрываясь и при этом вовсе не рассматривая на нем созвездий; днем на небо мы можем только взглянуть, полюбоваться им, восхититься, вообще пережить момент наслаждения, но не наслаждение длящееся.

предстоит, быть может, остаться здесь окутанною вечным сумраком. Правдоподобность догадок о том, чего мы не можем и однако же хотим знать – вот истинное определение научной достоверности эстетических рассуждений как теперь, так вероятно, и в далеком будущем.

Можно сожалеть, как о недостатке строгости к себе, о том, что г. Вл. Соловьев не оговорил точно этой степени достоверности высказываемых им соображений. Любя истину, мы не только должны стремиться к ней, но и твердо знать, когда ее не достигаем и в последнем случае бережно должны предостерегать каждого, кто мог бы принять нас за обладающих ею. Как ни готовы мы сочувствовать его мыслям, о том, что все проявления красоты в физической, безжизненной природе зависят от проникновения грубой, косной материи световым эфиром, как первою реализацией идеи, – мы конечно не должны забывать, что это только слова, сложившиеся в некоторое понятие, но не истина, опирающаяся на какие-нибудь доводы. Но, повторяем, доказывать что-либо в этой непроницаемо темной области науки так трудно, а опровергать так легко, что едва ли может у кого-нибудь, пробудиться желание избрать для себя второе, возложив на других первое. В общем, все соображения г. Вл. Соловьева о красоте в механически устроенной, внешней природе, если и не обоснованы, то так внутренне связаны, что они совершенно имеют ту слабую степень убедительности, которая одна только достижима здесь.

Но этого нельзя сказать о второй половине его статьи, где он занимается разбором явлений красоты в органической природе. Ошибки, в которые он впадает здесь, так грубы, что их можно было бы принять за простую небрежность языка, если бы и помимо его статьи он не повторялись слишком часто, постоянно и всегда в одной и той же форме. Здесь, очевидно, скрывается не небрежность в слове, но небрежность в мысли, совершенно правильно выраженной словом.

Ошибка эта, всецело перенесенная г. Вл. Соловьевым в свою статью из естественнонаучных произведений и в особенности из трудов Ч. Дарвина, касается вопроса о том, *как произошли прекрасные формы в царстве животных и растений, каким образом они ощущаются первыми и что именно эти ощущения вызывает, собою?* Дарвин, повторяя в применении к рассматриваемой области свой обычный прием мысли, утверждал, что красота *чувствуется* животными, дает преимущество прекраснейшим из них в борьбе за существование и этим путем медленно *нарастает* и постоянно укрепляется. В этом изгибе мышления, в этой новой связи понятий, порознь всегда известных, в сущности скрыт весь дарвинизм; в нем английский ученый дал *метод* объяснения природы; он *создал как бы новый силлогизм*, под формулу которого стали подводиться всевозможные явления животной, растительной и даже человеческой жизни. И нельзя не заметить, что как бы ни сузилась со временем применимость этой формулы, как бы много областей действительности ни оказались изъятыми из ее приложения, хотя бы изъята была даже вся органическая природа, – однако в абстрактном своем виде, и прилагаемая хотя бы только к мельчайшим деталям, эта формула сохранится навсегда. «Полезное *охраняет*», поэтому сохраняется само, и, суммируясь в веках, является как новая черта органического сложения, как прежде не бывший орган – это так просто, так, наконец, это правдоподобно (по крайней мере, – до последнего умозаключения), так действительно, что, в применении к органам ли или чему другому, человек – ранее, нежели прибегнет к другим более сложным приемам мысли, – всегда повторит за Дарвином этот простейший. В данной рассматриваемой области, в области явлений красоты, г. Вл. Соловьев находит удобным повторить этот именно круг мысли, – и здесь-то, почти повторяя Ч. Дарвина, он и впадает в те ошибки, о которых мы упомянули, как об очень грубых, и хотели бы их поправить.

I

«Жизнь животного, – говорит г. Вл. Соловьев, – определяется двумя главными интересами: поддерживать себя посредством питания и увековечивать свой вид посредством раз-

множения. Эта последняя цель, разумеется, не существует в сознании самого животного, а достигается природою косвенно чрез возбуждение полового влечения в разнополых особях. Но космический художник пользуется этим половым влечением не только для увековечения, но и для украшения данных животных форм. Особи активного пола, самцы – преследуют самку и вступают из-за нее в борьбу друг с другом; и вот оказывается, по словам Дарвина, что способность различным образом *прельщать* самку (курсив принадлежит автору) имеет в различных случаях большее значение, нежели способность побеждать других самцов в открытом бою».

Здесь указывается пока, что красота, даваемая животным природою, употребляется ими как некоторое средство для достижения известных целей – что они *прельщают се* и *пользуются* ею. В примере слизняков и некоторых других низших животных, который затем приводит г. Вл. Соловьев, у него как будто скользит уже мысль, что эта красота не только ощущается животными и они пользуются ею, но что до известной степени, иногда по крайней мере, они и создают ее или *усиливают* в тех же внешних целях: «если улитки пленяют друг друга своими аллюрами, то другие, более зрячие моллюски еще легче могут оказывать подобное действие красотою своих раковин». Здесь привлекательность движений, очевидно *произвольно* и *преднамеренно* совершаемых, уравнивается, как средство привлечения самок, с красотою цвета, и не отличается, что последний не может быть создан произвольно и преднамеренно существами, которым он присущ. Слова, заканчивающие приводимый пример, также мало могут рассеять это недоразумение: «дело ясное, – говорит он, – у ракообразных и пауков; здесь самцы некоторых видов приобретают во время половой зрелости яркую и разнообразную окраску, какой не имели прежде и какая отсутствует у самок». Так как этот признак появляется, когда он нужен, и исчезает, когда перестает быть нужным, то у читателя естественно может возникнуть мысль, что он создается, и именно в интересах достижения некоторой внешней цели (привлечения самок). Следующий пример еще более может укрепить в читателе эту мысль: «Фриц Мюллер пишет Дарвину из южной Бразилии, что он часто присутствовала при музыкальном *состязании* между двумя или тремя самцами цикады, имевшими особенно звонкий голос и сидевшими на значительном расстоянии друг от друга. Как только один кончал свою песню, так сейчас же начинал другой, и, таким образом, они все время чередовались между собою. Так как здесь, справедливо замечает Дарвин, обнаруживается столько соперничества между самцами, то весьма вероятно, что самки не только распознают их по издаваемым ими звукам, но что они, подобно птичьим самкам, *прельщаются* или возбуждаются тем из самцов, который обладает *самым привлекательным голосом*». И далее: «у насекомых, принадлежащих к отряду Neuuroptera, замечается не только особенное украшение крыльев у самцов перед спариванием, но наблюдается у разных видов предпочтение того или другого цвета… У некоторых видов жуков самцы отличаются огромными и весьма изменчивыми и причудливыми рогами, которые, как доказывает Дарвин, несомненно имеют характер украшения для прельщения самок»… «У многих видов бабочек замечается, что верхняя поверхность крыльев (в противоположность нижней), *которую порхающий самец показывает самке во время ухаживания*, раскрашена и разрисована с таким причудливым изяществом, которое не оставляет никакого сомнения в преобладании здесь чисто эстетического фактора».

Во всех этих примерах, которые приведены, но не объяснены и даже не разграничены, ясно высказывается мысль о некотором участии живых существ в создании тех прекрасных форм, которых они являются носителями. Силою какого-то внутреннего напряжения они как будто или вызывают эту красоту, или усиливают ее, – и делают это, чтобы привлечь к себе особей другого пола. В примере цикад, соперничающих музыкальностью и силой издаваемых ими звуков – это ясно; но и другие факты выражения красоты в природе поставлены в ряд с этим примером и их отличие от него не оговорено ни одним словом. В приводимых далее примерах видно, что автор и действительно приравнивает (по произвольности выражения) «яркую

и разнообразную окраску» некоторых пауков и ракообразных во время половой зрелости – к звукам, которые издают тропические цикады:

«*Неравнодушны*, – говорит он, – к красоте и рыбы. *Этим только объясняется, что* у многих видов этого класса самцы (вообще более красивые, чем самки) *развивают во время спаривания особую красоту цветов и форм*». Здесь прямо выражено, что окраска наружных покровов производится преднамеренно живыми существами для достижения внешней цели – привлечения самок. В следующих примерах к этой произвольности присоединяются и черты как бы некоторой кокетливости: «самцы тритонов *пленяют* своих подруг красивыми гребнями, а у лягушек только самцы же, и *лишь во время ухаживанья дают* свои *концерты*… В одном роде ящериц (Sitana) горло самцов снабжено большим, ярко окрашенным (во время спаривания) кожаным придатком, который *они распускают, как веер, перед самками*… Птицы почти все *основывают свои брачные успехи на обнаруживании того или другого эстетического свойства*, причем замечается, что блестящая окраска и способность к благозвучному пению обыкновенно не совпадает, но слабость одного из этих преимуществ возмещается развитием другого. Всего любопытнее у птиц то, что они *явно сознательно относятся к своей красоте и тщеславятся ею* не только *пред самками*, но и перед посторонними наблюдателями. Сам Дарвин не редко видел, что *павлин щеголял* своим убором не только перед курами, но и перед свиньями. Все естествоиспытатели, внимательно наблюдавшие птиц как на свободе, так и в неволе, единогласно утверждают, что *самцы находят удовольствие* в том, чтобы выставлять *напоказ свою красоту* (курсив везде принадлежит нам)».

Этим исчерпываются приводимые г. Вл. Соловьевым примеры, которые он заимствовал из книги Ч. Дарвина «Происхождение человека и половой подбор» и в объяснении смысла которых он не расходится с английским ученым. Как общий итог всех своих мыслей о красоте органических форм, он произносит, в самом конце своей статьи, следующее суждение: «в мире животных общая космическая цель («воплощение реальной идеи, то есть света и жизни, в различных формах природной красоты», как сказано у него ранее) достигается *при их собственном участии и содействии*, чрез возбуждение в них известных внутренних стремлений и чувств. *Природа не устрояет и не украшает животных как внешний материал, а заставляет их самих устроять и украшать себя»* (курсив принадлежит нам)». Человек, объясняет он далее, только тем, создавая прекрасное в искусствах, отличается от животного, что, тогда как последнее не сознает высших космических целей воплощения красоты, – он их сознает и к ним стремится осмысленно и свободно.

II

Вот мысли, которые нельзя не признать величайшим заблуждением. Красота признается не только существующею объективно для человека, разлитою в природе и ощущаемою лишь наряду с другими живыми существами, но утверждается, кроме того, что она возникает и погасает по мере надобности для тех существ, которые являются ее носителями, что она создается их преднамеренными усилиями. Природа не только прекрасна, утверждает автор разбираемой статьи, но она также еще и кокетлива. Именно это последнее утверждение и представляется нам грубой ошибкой.

С тех пор как естественные науки утратили свою связь с философией и представители их не изощряют более свою мысль на ее тонких и гибких понятиях, сила объясняющего суждения замечательным образом понизилась в естественно научных произведениях. Можно удивляться только, как смотря на природу, явления которой так иногда ясно говорят о своем внутреннем смысле, ученые совершенно не замечают этого смысла и говорят о ней слова грубые и темные. Природа силится им сказать о себе, но не может и говорит только немым языком своих явлений; а они не понимают этого языка и, видя только ее мучительные усилия, описывают их вид

и форму, не предчувствуя совершенно того, что за ними скрывается. Когда же берутся объяснять их, то начинают говорить что-то искусственное и придуманное, что не только не отвечает скрытому смыслу явлений, но и точной форме их, простому внешнему виду.

Приведенные выше факты и мысль, которою они связаны, могут служить одним из самых поразительных примеров подобного несоответствия между действительностью и теорией. Все эти факты уже заключают в себе две черты, которые совершенно роняют достоинство объяснений, продуманных для этих фактов. И в самом деле, все прекрасные формы и цвета, только что описанные, суть формы и цвета *видовые*, а не *индивидуальные*, – и, как таковые, они не могут ни в каком случае служить к выгоде одной особи перед другими особями, с которыми она борется за обладание самкой, потому что борется она не с особями другого вида, которые могут быть менее украшены и побеждены, но всегда и только с особями своего же вида, которые все украшены одинаково и поэтому не могут быть побеждены. Только *индивидуальное* отличие может быть выгодно для особи, только исключительная и частная красота могла бы дать ей какое-нибудь преимущество над всеми остальными в цели привлечения к себе самок. Как можем мы думать, что красота крыльев бабочки-самца служит для прельщения самок, «которым он их показывает, порхая во время ухаживанья», если совершенно такие же крылья показывает и всякий другой порхающий самец? Или, как «неравнодушных к красоте рыб-самок самцы могут прельщать ярким окрашиванием своим во время спариванья», если они все окрашиваются одинаковым образом? Совершенно ясно, что прельщение самок не играет здесь никакой роли, что красота форм и цветов в органической природе не есть средство для этого.

Если, далее, мы обратим внимание на то, которому из двух полов присущи бывают красивые формы и цвета, то еще более убедимся в несправедливости приводимых объяснений. Не самки, но именно самцы являются украшенными в природе, *и они же ищут и выбирают сачок*, которые остаются при этом пассивными. Если бы красивые формы и цвета служили средством для привлечения одним полом особей другого пола, то они, конечно, должны бы находиться на том из них, который является пассивным при спаривании. Тогда активно ищущий пол, привлекаемый красотою (она и здесь должна бы быть индивидуальною) одних особей сравнительно с другими, оплодотворял бы их преимущественно перед прочими, за ними утверждал бы потомство и тем укреплял бы в природе их прекрасные формы. Но в действительности происходит явление совершенно обратное: выбираемые являются неукрашенными, а избирающие красивы, хотя это им и не нужно. Если бы самцы, в красоте форм своего пола, сидели неподвижно и ожидали самок, или если бы, окружая самку, они прельщали ее и заставляли приблизиться к себе – тогда преимущество их в красоте было бы понятно. Напротив, оно совершенно непонятно, когда именно самки выжидают неподвижно приближения самцов[26], и во всяком случае, при приближении нескольких из них, отдаются ближайшему, а не более красивому – чего, впрочем, и нет, потому что они все одинаковы.

Эти два соображения так просты и вместе так убедительны, их сила так одинаково применима ко всей области органических форм, что мы не считаем необходимым развивать их далее или прибавлять к ним что-нибудь новое. Но, раз данное объяснение красоты в природе неправильно, является потребность найти другое, которое ближе подходило бы к истине, лучше отвечало бы фактам.

III

Некоторые особенности, встречаемые постоянно в явлениях органической красоты и указанные самим Дарвином и другими натуралистами, могут пролить свет на загадочный источник, откуда она возникает и развивается.

---

[26] Г. Вл. Соловьев сам выше говорит «особи активного пола, самцы преследуют самку» и пр.

Если в растительном и животном царствах красота является не у тех, кому она могла бы быть нужна (особи женского пола), и не в той форме, в какой единственно могла бы быть полезною (индивидуализированная), и это подтверждается всеми сделанными наблюдениями, – то в них же, в этих наблюдениях, открывается и то, что она повсюду и неизменно является там, где *жизненная энергия повышается в своем напряжении*. Прекрасное в органической природе не есть средство для чего-либо и в сознании его нет ни произвола, ни какой-либо искусственности: оно есть непроизвольное и естественное выражение жизненной энергии, особенная форма, в которую, наряду с бесчисленными другими формами, эта энергия преобразовывается. В существовании каждой особи и в жизни целого органического мира мы одинаково наблюдаем, как повышения или понижения ее сопровождаются расцветом или померканием и внешней красоты, в чем бы она ни выражалась – в цветах, звуках или линиях очертания. Но чтобы сделать яснее факт этого постоянного сопутствования, мы должны точнее определить, что именно разумеем под жизненною энергией.

Вся совокупность растительных и животных форм, покрывающих теперь землю и наполнявших некогда ее пласты, признается рядом звеньев одного великого и сложного процесса, который носит название органического. Эти звенья, единичные особи органического мира, являются разъединенными друг от друга и местом и временем своего индивидуального существования: но есть один акт, через который он все соприкасаются между собою и в силу которого именно мы и признаем их лишь звеньями целого, а не совершенно изолированными друг от друга существами, подобными, напр., минералам, это – акт рождения. В течение всей своей жизни одиноко растущая или прихотливо движущаяся особь является уединенною от всех других, свободною от их влияния и с ними не связанною; но в один миг своего существования, первый и самый важный – когда рождается, она примыкает непосредственно к морю органической жизни, разлитой по земле и уже продолжающейся тысячелетия; и в краткие же мгновения своего последующего существования – когда рождает, она соединяется с тою жизнью, которая останется на земле после того, как она сама сделается горстью праха. Таким образом, в акте рождения соединен весь органический мир, так разъединенный во всем остальном своем существовании, которое всегда индивидуально. Через него особь примыкает к целому и в нем же принимает она на себя все неизгладимые черты своего сложения, как физического, так равно и духовного. Неощутимым образом через этот акт целое накидывает на появляющееся единичное существо сеть как бы пределов, из которых оно никогда не выйдет; в которых все совершит, всего будет желать и всего достигнет. Таким образом органическая жизнь, не прерванная на расстоянии тысячелетий и связанная на всей земле, как бы пульсирует в индивидуальном существовании, и судьба каждой особи, от рождения и до смерти, есть только единичное биение этой великой жизни, удар ее, воспринятый и переданный, – необходимое, хотя и пропадающее мгновение в потоке вечности. Как, по какой форме происходит это пульсирование? Или, что то же, по какому типу совершается развитие органической жизни на земле?

Ответ на это может быть найден путем определения скрытого центра, откуда происходит самое биение органической жизни. Положение этого центра может быть выведено из наблюдения над самыми общими и постоянными фактами, в которых выражается существование органического мира от первого появления его на земле до его теперешнего состояния. Но чтобы смысл этих фактов, их указующее значение было вполне ясно, нужно сказать предварительно несколько слов о зависимости вообще всякого явления от его близости к первоначальной причине, служащей общим источником ряда фактов, в котором данное наблюдаемое явление есть одно звено.

IV

Всякий раз, когда какая-либо причина производит ряд подобных явлений, сила ее действия умаляется по мере того, как они дальше и дальше от нее отходят; и, наоборот, возрастает по мере того, как они к ней приближаются. А с тем вместе и каждое единичное явление, которое несет в себе миг этого действия и им существует, бывает выражено тем ярче и полнее – оно тем больше заключает в себе бытия, в чем бы последнее ни проявилось, – чем ближе, в ряду однорядных явлений, стоит к их общему источнику. Так движение камня, подброшенного вверх, бывает наиболее быстро в момент отделения его от подбросившей руки; и, наоборот, когда он падает, его движение наиболее быстро в момент прикосновения к земле, которая его притянула. Рука и земля, в обоих случаях, являются общим источником бесчисленного ряда неуловимо малых перемещений камня, сливающихся в линию его полета; и из этих перемещений ни одно по своим качествам (быстроте) непохоже на другое, но каждое ближайшее к своей причине энергичнее, нежели более удаленное от нее. Равным образом, если мы возьмем сферу, столь несхожую с механическими явлениями и так, по-видимому, от них удаленную, как жизнь психическая и историческая, мы увидим нечто аналогичное и в ней. Осуществление замысла какого-нибудь – еще тускло, недеятельно, пока он обдумывается только, когда манящий человека предмет далек; оно напряженнее в моменты, когда уже осуществляется, и, наконец, обращается в страсть, в порыв, когда предмет обладания уже находится перед глазами, или вещь исполняемая – почти готова. Великие завоеватели именно тогда уже, когда почти ничто не мешало ни величию их, ни всякому кажущемуся счастью, против этого «почти» устремлялись всегда так стремительно, что иногда гибли от необдуманности и быстроты движения (Персия – против Греции, Наполеон – против России; с иным исходом – Тамерлан против ненужной и даже неизвестной ему Восточной Европы). В этих и подобных фактах, число которых каждый без труда может увеличить, присматриваясь к окружающему, мы наблюдаем, что всякий раз, когда одна и та же причина порождает ряд звеньев – те из них, которые к ней ближе, исполнены бывают сильнейшего напряжения.

V

Если, руководимые этою мыслью, мы обратимся к органическому миру и захотим спросить себя: в чем именно здесь должна выразиться энергия явлений, которая для движения выражается в быстроте его, для света – в яркости, для желания – в его возрастающей нетерпеливости и пр., то, вникая в главное, к чему направляется органическая жизнь, что в ней творится, мы должны будем ответить следующее: при равенстве прочих условий, *количество жизненной энергии, заключенной в каждом организме, тем более* (в нем сравнительно с другими организмами), *чей развитие его органическое сложение*, т. е. чем многочисленнее и разнообразнее его функции и чем отчетливее и исключительнее каждая из них. Пусть причина, движущая органическую жизнь и заставляющая ее трансформироваться из одной формы в другую, остается вечно неизвестною; все-таки несомненным будет, что напряжение этой силы тогда больше, когда она производит сложное, чем когда она создает простое, – хотя бы уже потому, что сложное состоит из простого, которое в нем удвоено, утроено и т. д.

Таким образом, 1) *сложность организации* и 2) *обилие своеобразных* (одна на другую не похожих) *функций*, в ней совершающихся, может служить несомненным критериумом степени напряжения жизненной энергии на всех ступенях растительного и животного мира. Руководимые показаниями этого критериума, мы уже без труда можем определить, в каком направлении энергия жизни увеличивается и, следовательно, где находится скрытный центр ее биения.

Самый общий и постоянный факт, наблюдаемый в развитии органического мира от момента его появления на земле и до настоящего времени, заключается в том, что сложность организации отдельных особей, его составляющих собою, была все возрастающею во времени и никогда – убывающею. Вечное усложнение в строении, увеличение числа функций и ускорение каждой функции порознь – это и есть элементы, которые мы соединяем в одно целое, обозначая их общим именем *развития*. Простая протоплазма, эта живая слизь, без какой-либо организации и с одним общим свойством всего живого – раздражимостью[27], была первою основой органического мира. Эта бесформенная и почти косная масса была носительницею жизни, которая здесь едва мерцала, одна была различима. Актом рождения, без какого-либо перерыва в темной глубине веков, с этою протоплазмой соединен органический мир, теперь покрывающий землю, – этот трепет жизни, эта красота мироздания, это чудное разнообразие форм, цветов и звуков, наполняющих землю и оглушающих ее шумом вечной радости. Будем ли мы отрицать, что энергия жизни в нем теперь не больше, чем она была в той первой протоплазме, что она нисколько по времени не возросла? Нужно закрыть глаза на землю, чтобы сказать это; нужно преднамеренно отвернуться от природы, чтобы не слушать ее голоса и в этой глухоте и слепоте сохранить свою мысль и избежать вывода, который уже теперь ясен.

И в самом деле, если энергия органической жизни является возрастающею во времени, и это выражается в общем и постоянном факте возрастания сложности органического строения, то это не может зависеть ни от чего другого, кроме как от того только, что она приближается к своей причине, а не удаляется от нее. То есть что скрытый центр, откуда пульсирует в течение тысячелетий органическая жизнь, лежит не позади органических явлений, и они не исходят из него, не отталкиваются им, но – впереди их и они стремятся к нему, восходят.

VI

Всякий раз, когда источник какого-нибудь действия лежит позади этого действия (в пространстве или времени) – мы усвояем ему имя *причины*: таков толчок по отношению к движению; напротив, когда источник действия лежит впереди или после его – мы называем его *целью*: такова улучшенная форма чего-либо по отношению к процессу улучшения, через который оно проходит. Процессы, которые исходят от своих причин, всегда суть процессы только количественные; и с одной же количественной стороны могут быть познаваемы предметы, которые являются результатами их (масса, объем, фигура, положение и т. п.). Напротив, процессы, которые выходят к своим целям, суть также и качественные: качество есть новая сторона здесь, которая зависит от большего или меньшего соответствия целесообразно устроенных предме-

[27] После долгих и тщетных попыток найти, что есть безусловно общего во всех живых существах и безусловно постоянного в них, пока они живы, ученые остановились, наконец, на мысли, что это есть раздражимость. Кембриджский профессор Глиссон (в XVII в.) первый указал на нее как на общее свойство всех живых тканей и видел в ней истинную причину жизни; последующие ученые все более находили, что разнообразные формы органической жизни суть действительно только модификация этого первичного свойства. Понятны поэтому попытки их дать строгое определение того важного явления; однако они и до сих пор не остановились ни на чем общем. Нам думается, что правильнее всего явление раздражимости можно определить так: оно есть свойство отвечать на действие внешнего агента большим или меньшим, нежели сколько содержит в себе это действие, рассматриваемое как причина. Таким образом, раздражимость есть первое нарушение основного закона механики, что действие равно противодействию или обратно: противодействие равно действию, – и выводит весь ряд существ, обладающих ею, из-под законов механической природы, и образует из них особый мир живых и органических существ. Внутренняя причина, лежащая в воспринимающем действие существе, которая уделяет или задерживает это противодействие, может совершить это потому только, что она не есть причина механически действующая. Некоторый излишек в движении против законов механики создается при этом, или, напротив, производится некоторый недостаток. Эта способность – поглощать в себя движение или производить из себя сто – есть глубочайшая черта органической природы. В этой органической природе есть некоторая скрытая глубь, куда уходят и откуда возникают явления, без того чтобы вы видели их последствия или причины. Потому-то и правильно думают, что там, где начинается органическая природа, начинается господство совершенно особенных законов и сил, нежели какое мы знаем во внешнем, окружающем нас мире. Неудивительно, что эти законы и силы до сих пор совершенно не разгаданы.

тов или целесообразно совершающихся явлений с конечною целью, к которой они восходят, ради которой они устроены или совершаются.

Таким образом – не причина, скрытая в глуби времен, есть движущее начало всего органического процесса; но – цель, лежащая в будущем и нам еще неизвестная, которая устрояет этот мир и переводит его от формы к форме с помощью причин, механических в отдельности, но в целом планомерно расположенных. Подобно тому, как и воля человека, целесообразно устрояющая государство или возводящая здание, опирается на законы природы или души человеческой и действует с помощью их механически.

VII

Жизненное напряжение, о котором мы сказали ранее, что оно есть источник красоты в органической природе, раскрывается, таким образом, перед нами как сила скрытой целесообразности, не дающей органическим формам остановиться, пока цель всего органического процесса еще не достигнута; и она же мешает этим формам слиться в ряде тожественных, не отличимых друг от друга существ, пока ни в одной органической особи цель не достигнута, – и это есть истинная причина ее стремления рождать. Если бы дети совершенно походили на своих родителей – самого акта рождения не было бы в органической природе; возможное различие того, что будет порождено, есть настоящая причина всякого зарождения, какое когда-либо было. Потому что без этого различия не было бы приближения органических форм к своему источнику, а оно, это приближение, и есть источник жизненной энергии, которая сообщается особи в момент ее зачатия и даст ей силу повторить его. Особь есть только мимолетное звено в процессе вечного достигания; и она живет и дает другим существам жизнь лишь настолько, насколько достигает. Индивидуальные различия, которые мы находим во всех особях данного вида, есть результат их усилий переступить через границы своего вида – далее; и, насколько они уже бессильны сделать это сами, потому что связаны родительскою формой, которую несколько разрушили, и не в силах разрушить более – они стремятся достигнуть этого, по крайней мере, в потомстве. В этих усилиях, в этих вечных всплесках жизненной волны к своему неподвижному источнику, не все достигают своей цели: многие уклоняются в сторону или под влиянием внешних физических деятелей, или потому, что самое усилие было судорожно и неправильно; большинство не переходит обыкновенного уровня поднятия и, обессиленное – падает назад; но некоторые поднимаются высоко – и появляется то, что принято называть «крупными самопроизвольными изменениями организмов»: первая ступень в образовании нового вида. Явление смерти, как индивидуальной, так и видовой, равным образом явление уродливости – эти не общие и исключительные особенности органической природы – находят здесь свое объяснение. Смерть есть угасание жизненной энергии, происходящее от того, что она не доходит в особь или вид из вечного источника, к которому они стремились некогда приблизиться – и тогда жили, в соотношение с которым теперь почему-либо в них прервано. Бессилие стать к этому источнику ближе есть причина смерти, как самое приближение – причина жизни. В общем же причиною того и другого служит бессилие или, наоборот, способность производить из себя различное. Всякий раз, когда в акте рождения уже передана особью своему потомству способность к дальнейшему достижению цели, и она ничего более не может сделать, как только повторить себя – она выпадает из органического процесса, как его ненужное звено, и умирает. Здесь лежит объяснение и явления старости – этого бледного и косного существования, где жизнь уже не поднимается более, где остаток ее, слишком недостаточный, чтобы передаться, медленно растрачивается на поддержание в неподвижном состоянии прежней организации; и когда растрачивается на это все он – организм разрушается. Отсюда же объясняется и то, что этого явления старости, иногда продолжительного в высших организованных существах, полных жизненной энергии, нет в низших, со слабою энергией, которой

едва хватает на то, чтобы передаться потомству в несколько увеличенном виде: поэтому многие из них умирают, как только родят. Так происходить индивидуальная смерть. Вид же или род умирает потому и тогда, когда он или породил уже высшую, чем сам, органическую форму, или когда он уклонился с пути этого порождения лучшего. В первом случае он связан с ныне живущими видами и родами непрерывающимся рядом промежуточных форм; во втором случае он является вымершим без потомства, как бы отделившеюся от органического мира ветвью, которая угасла, ничего не производя. И там и здесь органическая форма вымерла потому, что утратила силу рождения, сделавшись способною только повторять себя, по не производить что-либо новое, ближайшее к вечнодостигаемому источнику всей органической жизни.

Отсюда соотносительность жизни и смерти в органической природе: – невозможность породить первую, не приняв в себя второй. Всякое созидание *иного* есть разрушение себя, и это в каждой частице организма, во всем в нем как особи, и в целом органическом мире. Это от того, что невозможно достигнуть чего-либо, не став тотчас же ненужным более настолько и в том именно, насколько и в чем достигнуто.

VIII

Теперь, установив эту общую точку зрения на органическую природу и ее развитие, обратимся к более частному рассмотрению одного явления в ней – красоты. Мы увидим, что оно замечательным образом объясняется из этого взгляда, а он, взамен, получает в этом явлении фактическое подтверждение.

Мы сказали ранее, что красота есть особая форма, в которую преобразуется органическая энергия, что она есть только проявление последней, в котором нет ни произвольности, ни чего-либо преднамеренного или искусственного. И в самом деле, все ее повышения совпадают с повышениями органической энергии, как мы объяснили их выше.

Незначительная на низших ступенях органического развития, красота возрастает по мере того, как это развитие подвигается во времени, и формы из более простых переходят в более сложные, т. е. становятся носителями высшего жизненного напряжения, большого количества органической энергии. Факт все более и более яркого проступания красоты есть столь же общий и постоянный в органическом мире, как и факт усложнения этого последнего в каждой отдельной особи и в целом строении своем (богатство органов в организме, богатство видовых, родовых и прочих форм в органическом мире). При этом замечательно, что красота, возрастая, не только становится более яркою через какой-нибудь один способ выражения, но она ищет и новых способов выразиться, потому что один становится уже недостаточен: к красоте *очертания* присоединяется красота *цвета*, в самом цвете появляется очертание; и он становится *узором* (крылья бабочек, напр.); наконец, появляется звук, сперва внешний, производимый трением одной части тела о другую (насекомые), а потом внутренний – голос; им обладают только животные с очень уже высокою сложностью организации. Эта многоформенность выражений красоты, развивающаяся параллельно с многоформенностью жизненных функций (дыхание, кровообращение, пищеварение), служит, как и она, показателем повышения органической энергии.

Три общие типа, к которым искусно сводит г. Вл. Соловьев все отделы проявления безобразия в органическом мире[28], через это сводятся к одному. Всякий раз, когда в органическом процессе, целесообразно развивающемся, мы встречаем или *остановку,* или *возвращение* к прежнему, или *раннее и недостаточное осуществление* того, что лишь в будущем может быть осуществлено в своих нормальных пределах, мы чувствуем присутствие в нем неправильного,

[28] «Преобладание материальной животности, возвращение к бесформенности, предварение высшей формы» (напр., организация лягушки и обезьяны по отношению к организации человека).

болезненное уклонение его энергии в сторону, – и некоторое темное и неприятное ощущение овладевает нами. Сами являясь носителями органической энергии, и притом на высшей ступени ее осуществления, мы непреодолимо и безошибочно чувствуем все не так направленное в развитии этой энергии, и, повинуясь чему-то безотчетному, *отвращаемся* при созерцании его. Смотря на природу как на вечно завышающееся, мы радуемся, созерцая, как формы ее бегут вверх, мысленно поднимаемся за ними и любим их тогда, наслаждаемся ими; если же они бессильно опускаются вниз, что-то враждебное против них поднимается в нас, мы оставляем их и ненавидим, не находя в себе сил даже к состраданию. Сострадание отсутствует здесь, быть может, потому, что в отвратительном мы всегда и верно угадываем присутствие чего-то смертного, относимся к нему как к временному в высшей степени; напротив, все прекрасное исполнено залогов жизни, и мы не ошибаемся, когда называем его (по соотношению с достигаемым) вечным.

IX

Возрастая, как и сложность организации во времени, красота в каждой отдельной особи бывает не постоянно выражена с одною и тою же силою и яркостью. Две главные функции находим мы во всяком организме: питание, через которое он поддерживает себя, и размножение, через которое продолжает себя в потомство. К общему органическому процессу имеет отношение только вторая функция; через акт рождения, как мы заметили выше, проходит та скрытая нить, которая связует особь с целым органическим миром, делает ее не изолированным существом, но звеном в длинном ряде все развивающихся форм. Через этот именно акт особь, бессильно стремившаяся подняться над родительскою формой, передает стремление и способность подняться выше ее – своему порождению. Ясно, что в этом именно акте происходит поднятие органической энергии, и с ним же совпадает высшее проявление красоты в природе: в примерах, приведенных выше, повсюду отмечено, что красота форм, цветов и звуков возрастает, ко времени спаривания, продолжается все время, пока оно длится, и тотчас блекнет, когда оно проходить. И Ч. Дарвин, и г. Вл. Соловьев объясняют это тем, что она появляется в то время как средство прельщения; но если мы могли бы еще подумать это об одних выражениях красоты (например, о пении птиц), то ни в каком случае не можем допустить этого относительно других (окрашивание раковин и рыб, вырастание различных придатков, благоухание цветов и пр.). Поэтому правильнее всего и там, где мы могли бы заподозрить преднамеренность, видеть не что-либо произвольно создаваемое в видах достижения временной цели, но также невольное и своеобразное выражение поднявшегося жизненного напряжения. И человек поет, – и это прекрасно, и влечет к нему; но он поет не для того, *чтобы* привлечь к себе, а потому, что ему *хочется* петь, что у него пробудилась к этому способность и влечение. Так и прекрасные формы, цвета и звуки в животном мире, суть простые выражения органической энергии: они суть следствия ее поднятия, а не средство для чего-либо. Но что эта внешние выражения скрытой энергии привлекают особей другого пола, это слишком понятно; и в них в то же время происходит поднятие жизненной энергии, и ясно, что она поднимается навстречу энергии другого пола. Акт спаривания есть момент, когда эти энергии сливаются. Как было бы ошибочно думать, что человек и лицом, и вообще физически в среднем возрасте становится прекраснее, чем в старости, только потому, что желает этого, что в это время нужна ему красота, – так ошибочно думать, что и прекрасное в органической природе возрастает, потому только, что оно нужно. Ни произвольности, ни чего-либо искусственного здесь нет.

X

Мужской пол вообще нужно считать главным носителем органической энергии: насколько последняя не только сохраняется, но и нарастает во времени, она содержится именно в нем. Он есть деятельный и зиждущий элемент в органическом мире; и в человеке, в котором, как в высшем звене органического мира, все явления этого мира крупнее и ярче выражены, это можно видеть особенно ясно: мужчина сделал историю, женщина же всегда оставалась только его помощницею. Не только всякий исторически значительный замысел, новая идея или высокое и своеобразное чувство всегда зарождалось в мужчине, и женщина только приникала к этому, любила это и того, кто его создал; но если мы будем сравнивать и внешний, физический облик мужчины и женщины, мы без труда заметим, как разнообразен он у первого и как однообразен у другой. Женщины гораздо сходнее между собою, нежели мужчины; в них гораздо меньше индивидуальности; а уже выше было сказано, что индивидуальные черты суть именно то, в чем сказывается стремление органической энергии, живущей в данном виде, переступить его границы (разрушить родительскую форму). Таким образом, не только в духовной сфере нарастание некогда исходило из мужчины, но и в физических чертах это нарастание во времени также является только в нем или в нем главным образом. Отсюда – автономность в мужчине, некоторая отделенность его, которому расти только вперед; и связность женщины, ее слитность с мужчиною, и любовь – как высшая красота ее к истории и совершенное удовлетворение. Все особенности мужского характера, его духовной личности и его роли в истории, объясняются из одного: из того, что он есть носитель целей своего рода; и все особенности женщины, над которыми столько задумывались: ее незначащая роль в истории и особенные светлые и высокие черты ее души – все это вытекает из того, что она не носит в себе никаких автономно ей принадлежащих целей. Ее вечная и единственная цель – стать *усвоенною, послужить*, сделаться *орудием* обнаружения того, о чем она имеет только смутное представление и более ясного не ищет; – потому что единственное понятие, ей необходимое во всей ясности, есть то, что она *служит, способствует* чему-то.

По этой же причине – если мы вновь возвратимся к органическому миру – особи мужского пола являются в нем деятельными в момент спаривания, а особи женского пола – пассивными: именно первые ищут продолжить свой род, в них именно органическая энергия, вечно стремящаяся разрушить родительскую форму в детской, ищет быть переданною потомству. И они же, как это замечают все натуралисты, в момент спаривания приобретают особенно прекрасные формы; самки же остаются таковыми, какими были, или изменяются очень мало. Красота очертаний, цветов и звуков, о которой мы утверждаем, что она есть преображенная органическая энергия, нарастает у того именно пола, который есть носитель нарастающего в этой энергии.

Таким образом, в мире животном и растительном красота форм, цветов, звуков, нарастая:

• *по мере возрастания сложности организации,*

• *к моменту спаривания,*

• *у пола, деятельно спаривающегося*, – одинаково является там, где пульс *биения* органической жизни повышается, где *tonus* пульсации особенно напряжен. Мы объясняем – где эта пульсация восходит, где жизненная волна всплескивается к некоторому высшему своему завершению, подобно океаническим водам, которые немного, но постоянно поднимаются навстречу тянущему их к себе небесному светилу. Только это тяготение органического мира построено не по законам пространства, но по законам времени.

XI

Взгляд на источник красоты в органическом мире, изложенный нами, совпадает, таким образом, со всеми фактами се частных проявлений: тогда как Дарвиново объяснение во всех же частностях, с этими фактами расходится. Прекрасное в живой природе есть отблеск радости об этой носимой в ней жизни, как отвратительное в ней есть содрогание от приближающейся смерти. Самую же жизнь мы рассматриваем как достигание органическими формами, этою одушевленною материей, вечного источника своего, который, оставаясь в бесконечной дали, некогда затеплил искру этого особенного существования на холодной земле, и чем далее проходило время – она все разгоралась на ней, вбирая в себя безжизненные элементы, которые лежали вокруг, и преображая их в формы все более живые и все более прекрасные по мере того, как великий источник жизни становился ближе. Вот почему так напрасно ищут *начета* органической жизни: оно не в прошедшем, а в будущем, оно наступит, и его нужно ожидать, а там, где его ищут обыкновенно – лежит только его конец. Он теряется в безжизненной неорганической природе; и где, в каком месте, в какое время она впервые и незаметно шевельнулась под действием безгранично далекого луча, на нее павшего, шевельнулась как никогда раньше и по совершенно особенным законам, связь с которыми никогда уже не утратила потом – этого напрасно искать.

Проявление красоты в органической природе отмечено одною особенностью, которая удобно может послужить переходом к рассмотрению прекрасного в самом человеке. Именно – замечено, что раз она выражена в чем-нибудь одном, она уже не выражается в другом: так, птицы с красивым оперением не обладают даром пения, а имеющие этот дар – дурно окрашены: явление, совершенно необъяснимое, с точки зрения Дарвина, и понятное при том взгляде на красоту, какой мы установили выше. И в самом деле, если всякая красота является потому, что она нужна, полезна для своего обладателя, то почему одному виду красоты не прибавляться к другому, почему с улучшением оперения не возрастать и звонкости голоса? Если переживать своих соперников должны особи, наилучше приспособленные к привлечению самок, то их особенно должны переживать те, у которых к одному виду красоты начинает присоединяться и другой. Таким образом, многоформенность прекрасного в одном индивидууме должна бы встречаться особенно часто. И, между тем, мы ее не находим. Напротив, – мы переходим к своему объяснению – раз органическая энергия нашла себе выражение в чем-либо, если она вылилась в одну определенную форму красоты, – ее не останется уже для создания еще и другой формы, потому что на каждой ступени органического мира, во всяком отдельном виде животного или растения, эта энергия находится в постоянном, определенном количестве; и она может возрасти только на следующей его ступени, в дальнейшей фазе его развития.

Мы повсюду говорили о красоте организмов, тогда как следовало бы говорить только об их красивости. Есть что-то бездушное, как бы неживое в этой красоте – по крайней мере с точки зрения человека, который так высоко стоит над органическим миром, так безмерно богат жизнью сравнительно с ним. Фигура, очертания, оттенок краски, переливы голоса – все это так бедно, так грубо механично в сравнении с тем неуловимым, что, созерцая свой собственный мир, человек привык соединять с понятием «красоты». Только по снисхождению он может прилагать это высокое слово к окружающей его природе, которая стоит ниже его; с правом же может говорить так о себе одном только. Во всем мироздании он один истинно прекрасен – и в образе лица своего, и особенно в образах того, что создает.

Есть одно основание, и оно именно заключается в способах проявления красоты, которое побуждает нас думать, что органический процесс уже получил свое завершение в человеке; и что скрытая целесообразность, двигавшая развитие столько тысячелетий, направлялась к созданию его внешних черт и его духа. И в том смысле, в каком можно достигнутую цель

называть причиною своих средств, хотя они существуют и ранее ее, – можно и человека считать истинною причиной всей органической природы; он создал ее, и создал именно безусловностью некоторой красоты, в нем скрытой, но пока лишь мерцающей сквозь темную оболочку его тела и всего грубого, что с нею связано.

Уже раньше нами замечено было, что в исследовании этой трудной и загадочной области доказательства в обычном смысле не приложимы, и все, чего мы можем достигнуть здесь – это хотя слабого рассеяния сумрака, который окутывает эту область, с помощью разных аналогий и сближений. Строго воздерживаясь придавать им настоящую доказательную силу, мы укажем здесь на некоторые из этих аналогий, подтверждающие мысль о завершенности органического мира, только что высказанную нами.

Что в красоте обнаруживается органическая энергия – это оправдывается всеми фактами, удостоверяющими нас, что повышения первой всегда совпадают с повышениями второй. С не меньшею твердостью мы можем думать, что сама органическая энергия есть не иное что, как сила целесообразности, движущей различие органических форм: ибо во времени эта энергия является нарастающею, а нарастание присуще только целесообразным процессам. Наконец – и соображения, и наблюдение фактов показывают, что формы проявления красоты не неопределенно разнообразны, но что они связаны между собою, и связь эта обнаруживается в том, что всякий раз, когда данное количество энергии выражено уже в одном виде красоты, оно не ищет выразиться еще в другом; то есть, этот последний (другой вид красоты) не проявляется, отсутствует.

Теперь, держа в мысли эти объяснения, обратимся к рассмотрению фактов, представляемых красотою человека.

XII

Как известно, род человеческий распадается на несколько рас, из которых четыре цветных и одна белая. Между первыми одна – монгольская – очень близко подходит к белой расе; она едва может быть названа цветною, тогда как остальные три имеют цвет резко выраженный (американская, негрская и малайская).

Было предметом многих соображений взаимное отношение этих рас; различие их настолько резко, что являлся даже вопрос об единстве человеческого рода, высказывалась мысль о независимом происхождении отдельных рас. Не видели промежуточного, соединительного звена между ними и не могли представить способа, каким одна раса могла бы произойти от другой.

Но этих промежуточных звеньев напрасно искали и в пластах земли для органических форм. Их не нашли; и никаким оправданием для этого не может служить довод, что искали еще недостаточно, и в будущем может быть найдено то, что не отыскано до сих пор. Потому что если промежуточные формы суть те, которые еще не доросли до видовой или уже переросли ее (для образования нового вида), и все это движение совершалось без каких-либо резких переходов, путем только медленного накопления индивидуальных отличий, то ясно, что переходных между видами форм должно быть неизмеримо более, нежели чистых видовых форм. Последние суть только моменты в развитии органического мира; первые же представляют собою обычную, постоянную форму его существования. Время, в которое образуется вид, продолжительнее, нежели то время, в котором он пребывает неподвижно; а следовательно, и нарождаемых им особей в переходном состоянии более, чем нарождаемых в чистом, и первые должны бы находиться повсюду и часто, а вторые лишь иногда и в редких местах. Их численное отношение можно сравнить с отношением суточных колебаний магнитной стрелки к ее вековым возмущениям, которые образуются через медленное нарастание неправильностей в первых; или еще – это отношение можно сравнить с положением часовой стрелки, которая только 24 раза

в сутки совпадает с крупными, большими делениями круга (показывает часы) и все остальное время, целые тысячи моментов, находится вне их в промежуточных, соединяющих точках. И так же редки и удивительны должны бы быть чистые, не промежуточные формы, находимые в земле, как вообще редки и удивляют нас случаи, когда, войдя в комнату и видя на стене циферблат часов – мы замечаем, что стрелки их, минутная и часовая, точно указывают целый исполнившийся, в эту минуту отбиваемый молоточком механизма, час.

Поэтому если переходных форм нигде не находится, то это может происходить только оттого, что их вовсе никогда и не было. И в самом деле, кроме этого предполагаемого способа возникновения органических форм путем сложения незаметных индивидуальных изменений, которые полезны особи в ее борьбе за существование с другими себе подобными (теория Дарвина), – есть еще другой способ, и он наблюдался уже в исторические времена. Под воздействием сил, природа которых еще не разгадана, иногда появляется у какой-нибудь особи известного определенного вида потомство с новым признаком, настолько крупным и резко выраженным, что, руководствуясь обычными приемами классификации, мы должны принять его за новый вид или за новую разновидность[29]. И, однажды возникнув, этот признак передается дальнейшему потомству, удерживается в нем как постоянное видовое отличие, а не как индивидуальное, которое всегда то появляется, то исчезает. Таким образом, виды не происходят медленно: это – предположение, которое не оправдано ни одним фактом; они рождаются, и это – уже факт, который нуждается только в объясняющей теории.

Не иной какой-нибудь способ должны мы предполагать и для происхождения человеческих рас – хотя бы уже по тому одному, что он всегда останется только предположением, этот же имеет под собою факты. Мы можем с большою вероятностью думать, что от одной первоначальной расы произошли все остальные; или, точнее, что предки каждой высшей расы были порождены когда-нибудь в среде низшей расы. И действительно, если за отличительную черту рас принимать, как это установлено, цвет кожи, то мы увидим, что отношения этого цвета у отдельных рас могут быть рассматриваемы, как отношения степеней: так, напр., красный и желтый цвет рас американской и монгольской есть лишь ступени перехода темного цвета в белый.

Которую из всех рас, в таком случае, нужно принимать за первоначальную? Многие соображения заставляют думать, что таковою была темная раса, населяющая и теперь внутреннюю часть материка Австралии. Ее считают за переходную ступень от негров к малайцам (отсюда их название «негритосы», впрочем не единственное), но правильнее считать их за исходную точку образования и первых, и вторых. Грязный цвет кожи их представляет что-то колеблющееся между черным цветом негров и коричневым малайцев. Из всех человеческих рас они стоят на самой низшей ступени развития – не знают не только религии и государства, хотя бы на первоначальной ступени общины, поселка, но не знают даже и постоянного жилища, равно как мало нуждаются в огне для приготовления себе пищи. Несмотря на все усилия миссионеров, они не оказывают никакой способности к принятию христианства, равно как и к усвоению вообще каких-либо начатков цивилизации. Любопытно в высшей степени, что место географического распространения их – Австралия есть одинаково и место нахождения самых архаических форм растений и животных. Путешествующий по лесам и лугам Австралии видит вокруг себя как бы воскресший мир некогда живых существ, который он знал лишь по палеонтологическим кол-

[29] В книге Н. Я. Данилевского «Дарвинизм, критическое исследование». СПб., 1885 г., т. 1, стр. 374–449 – собраны тщательно все факты образования новых растительных и животных пород этим путем. Самый резкий, но вовсе не единственный пример этого образования представляет собою однолистная земляника, Fragaria monophylla, которая родилась непосредственно от обыкновенной трехлистной и продолжала затем воспроизводиться из семян первой, то есть изменение коснулось основной воспроизводящей функции организма. Дюшен, который первый наблюдал это любопытное явление в 1761 г., в живых словах описывает свое изумление: «Как смотреть на нее? – спросил я себя при виде новой формы так хорошо известного растения. – Вид ли это? Но тогда ведь происходят новые виды! Разновидность ли это только? Сколько же тогда в других родах разновидностей, которые принимают за виды?» (стр. 407).

лекциям и о котором ничто уже более не напоминает в окружающей действительности других материков. Нет полного сходства между ними, но есть близость, которой мы напрасно стали бы искать где-нибудь в другом месте на земном шаре. К сожалению, о происхождении материков мы ничего достоверного не знаем, но мы можем догадываться, что есть скрытые законы и силы, которые вызвали их из-под океана, и что это совершилось не без строгого, определенного порядка в возникновении их. На это указывает строгая, во всем выдержанная аналогия во внешних очертаниях и внутреннем строении всех материковых масс южного полушария и всех – северного, при различии до противоположности между собою первых и вторых [30]. С этим порядком возникновения материков, вероятно, связаны как-нибудь и формы организмов, их населяющих. Во всяком случае, как ни темна для нас причина факта, самый факт – архаичность флоры и фауны материка Австралии – остается несомненным. И этому соответствует то, что и человеческая раса, здесь обитающая, стоит на низшей ступени развития сравнительно со всеми другими человеческими племенами. И если за общую форму, через которую проходит жизнь человечества, принять совершенствование, приближение к лучшему с течением времени, то и австралийскую расу, как ее флору и фауну, мы должны принять за наиболее древнюю из всех.

XIII

Дальнейшие аналогии все подтверждают эту гипотезу, но, чтобы сделать понятными их, мы должны остановится несколько на одном глубоком и очень общем законе природы, происхождение и способ действия которого до сих пор не разгаданы, но который был сознан человеком уже в древности: мы говорим о законе полярности. В пифагорейской школе впервые высказано было мнение о том, что все части Космоса разлагаются на противоположности; и это же соединение противоположностей и распадение всякого единства опять на противоположности составляло сущность учения Гераклита, мыслями которого была так заинтересована новейшая философия, в лице особенно Гегеля и некоторых его учеников. Диалектический метод этого

[30] Суша земного шара состоит из трех больших масс: 1) Американского материка. 2) Австралийско-Азийского материка и 3) Африканского материка. В первом вся масса земли сосредоточена или как бы сформирована в два члена – северный и южный (Северная Америка и Южная), которые развиты приблизительно одинаково, то есть почти одинаковой величины; их расположение, как бы координирующая их ось, тянется с С. З. С. на Ю.В. Ю.; соединены они между собою лишь очень узкою лентой земли (Панамский перешеек). Южный член имеет вид несколько вытянутого по меридиану треугольника, с выпуклою восточною окраиною и вдавленною западною стороною; на его северной стороне (восточнее соединяющего перешейка) мы наблюдаем зачаточное образование залива, почти единственного у его берегов. Северный член той же материковой массы представляет собою как бы фигуру распускающегося цветка: он расширяется, поднимаясь к северу, и расчленяется (полуострова); масса гор при этом сосредоточена к С. З. от перешейка, ближе к нему, нежели к северному краю, но в общем имеет центральное положение в противоположность краевому, какое имеют горы южного члена. Замечательно, что все эти особенности повторяются в Австралийско-Азийской массе суши (включая в нее Европу – только ушедшую вдаль и очень развитую С. З. оконечность Азии); но только в ней чрезвычайно не развит южный член (Австралия) и чрезвычайно же развит северный (Азия и Европа): то же здесь направление с Ю. В. Ю. на С. З. С, та же лента полуостровов (Индо-Китай и Малакка) и островов (Зондские), представляющих разорванный мост, некогда соединявший оба члена; та же фигура треугольника, выпуклого к востоку, вдавленного с запада – у южного члена (Австралии с Тасманиею), и даже тот же, но чрезвычайно развитый залив на северном берегу (Карпентария). В северном члене – та же фигура раскрывающейся чашечки цветка, с бесконечно раздавшимся северным краем и суживающейся в воронку южной частью, с расположением главных горных масс к С. З. от разрушенного перешейка (Гималаи и Тибет), ближе к южному краю, чем к северному. Перейдя к третьей массе, Африке, мы видим, что в ней выражен собственно южный член какой-то материковой массы, но ему недостает северного; и судя по тому, что в Америке оба члена почти одинаковы, а в Австралийско-Азийской массе развит северный член и не развит южный, мы имеем все основания предполагать, что по некоторому закону космического равновесия Африка есть чрезвычайно развитый южный член, около которого северный член, малый, неразвитый, исчез. Этот исчезнувший, недостающий материк есть древняя Атлантида, лежавшая к западу от Гибралтарского пролива, память о которой хранилась еще во времена Платона и след которой сохраняется и до сих пор в группах Канарских и Азорских островов. По крайней мере, один взгляд на Африку убеждает нас в полной аналогии ее фигуры с фигурой Австралии и Ю. Америки: выпуклость на востоке (Абиссиния с м. Гвардафуй) и выемка на западе (Гвинейский залив), выемка между заливами Габеш и Сидра на севере, краевое расположение гор. Едва ли одной случайности без действия какого-либо скрытого закона можно приписать эту выдержанную симметричность, аналогию, параллелизм в формах и расположении материков.

германского мыслителя есть также не что иное, как теория развития логического понятия, и с ним всего мирового процесса, посредством чередующихся между собою утверждений и отрицаний, соединений и разложений. Мы только напоминаем эти учения, и делаем это для того, чтобы дальнейшие указания наши не показались чем-либо новым и произвольным. Доверяясь только простому и строгому наблюдению и оставляя в стороне все сомнительное, мы не можем не заметить, что, по крайней мере, некоторая часть природы как будто действительно подчинена этому великому закону. Так, если мы будем рассматривать строение организмов, мы увидим, что симметрия их зависит от того, что многие важнейшие органы их двойственны и противоположны (напр., два легких, две почки, два полушария головного мозга, далее – конечности и органы высших чувств: зрения, слуха и обоняния – двойные); и если в других органах двойственность и противоположность не бросается так резко в глаза, то лишь потому, что она закрыта, замаскирована, или своеобразно выражена. Но мы ограничиваемся указанием только грубого и общеизвестного и не будем отвлекаться рассмотрением более тонких черт органического сложения. В исторической жизни народов, которая служит как бы другим полюсом по отношению к организации животного тела, так неизмеримо отходя от нее и все-таки, в конце концов, имея ее своею исходною точкой, мы также можем наблюдать это развитие противоположностей: с противоположными характерами являются в ней великие расы (напр., монгольская и кавказская), и в каждой расе противоположными являются отдельные моменты ее духовного развития (напр., античная цивилизация и христианская, или в последней – Средние века и Новое время; так же: эпикуреизм и стоицизм, материализм и идеализм, методы умозрительные и опытные и пр.).

Этих кратких указаний будет достаточно, чтобы объяснить нашу мысль: некоторая часть явлений природы, развиваясь в потоке времени, разлагается на части не просто различные между собою, но противоположные. В этом процессе собственно непонятным является только первый момент: выделение первой особенности; потому что, раз она выделилась, выделение ей противоположного становится уже необходимым: оно одно остается в том существе или явлении, которое послужило исходным моментом начинающих развиваться противоположностей и в котором они все содержались уже от начала, но только в неразделенном, связанном состоянии, смешиваясь между собою и через это взаимно ограничиваясь. Подобно тому как если бы в каком-нибудь объеме пространства, занимаемом разреженною материею, эта последняя собралась в одном месте и сжалась до абсолютной плотности, то другие части взятого объема пространства стали бы абсолютно пустыми, и даже в самом процессе этого собирания материи каждый момент уплотнения сопровождался бы, как своим необходимым следствием, моментом разрежения в другом месте; уплотнение же и разрежение суть явления противоположные. Можно предполагать, что все подобные процессы начинаются в природе оттого, что в ней все, каждая часть, стремится к самоутверждению, к полноте и твердости бытия своего, и потому силится освободиться от связывающей близости другого, очиститься от всего постороннего и, следовательно, уединиться; а через это уединяется в себе и другое.

XIV

Если мы допустим возможность действия этого закона в развитии человеческих рас, то появление каждой из них с отличительными особенностями своими станет для нас понятно. Мы обращаемся опять к исходной расе – австралийской. Грязный цвет ее кожи, не совершенно черной и не совершенно белой, раз должно было совершиться в ней развитие должен был, по закону полярности, разложиться на совершенно черный и на совершенно белый; то есть образование негритянской и кавказской рас содержалось в возможности уже в австралийской; подобно тому как плотное и пустое содержится в возможности во всякой степени сгущения или разделения. Из этих двух противоположных рас большая одаренность в духовном отноше-

нии должна была стать уделом белой, черная же не могла обладать высокими способностями, и это потому, что если одухотворенность есть то, что поднимает человечество над всем органическим миром, то она должна появиться там, где грубые черты органического мира становятся наиболее бледными, где они стираются и исчезают. Эта грубая, внешняя черта органического мира есть именно его окрашенность, в которой так механично, так несовершенно выражается его красивость. И если в человечестве эта красивость должна была перейти когда-нибудь в настоящую красоту, если она должна была одухотвориться, то для этого прежде всего ей необходимо было удалиться от грубо механических знаков в выражении себя: исчезновение какого-либо определенного цвета должно было предшествовать проявлению одухотворенности в человечестве. Но высшая ступень развития всегда достигается с большим трудом, нежели низшая, и вот почему негритянская, или черная, раса выделилась из австралийской без каких-либо промежуточных ступеней, соединительных звеньев, тогда как образованию кавказской расы предшествовало образование малайской, американской и монгольской: через них только, как предварительные ступени, медленно, путем нескольких внутренних усилий австралийская раса поднялась до белой. Но в высшей степени замечательно, что уже первая ступень на пути к образованию белой расы как бы предваряет в себе ее высшие способности, и даже с такою отличительною особенностью, которая ярко указывает на ее переходный характер, определяет ее именно как ступень к какому-то поднятию. И в самом деле, негритянская раса хотя гораздо способнее австралийской, но имеет в этой способности своей, в этой относительной даровитости, нечто замкнутое, неподвижное: видно, что какой-то процесс развития, ее вызвавший, в ней закончился, заключился, замкнулся. Черный цвет этой расы есть и действительно уже полюс, который не может быть переступлен далее, и, следовательно, от негритянской расы никогда не произойдут еще какие-либо новые народы, сколько-нибудь от нее отличные[31]; она может размножаться внутри себя, и этим увеличиваться, расширяться, но не может ни во что перейти, измениться – ей чуждо развитие, как пределу. Поэтому – если негры и способны, то так, как они и всегда были способны; отсутствие развития и какого-либо внутреннего стремления к нему есть отличительная черта их, – и этим объясняется, почему, зная уже ремесла и заведя торговлю, живя обширными племенами, ведущими между собою войны, они, однако, нигде не замкнулись в правильное, организованное государство и нигде не начали истории. Они могут становиться лучше, когда их делают таковыми другие народы; они принимают воздействия, налагаемые извне; но внутренно остаются при этом пассивными. Так, в Западной Африке и в Центральной Америке они приняли государственную жизнь, в которую их устроили европейцы, но приняв ее – остаются в ней неподвижно, не улучшают ее, вообще не изменяют и даже не ухудшают, что все-таки, хотя отрицательно, свидетельствовало бы о внутренней жизни этой расы, о способности ее к самоизменению и, следовательно, к истории. Напротив, малайская раса, в коричневом цвете которой впервые проступает стремление к белому, хотя также не образовала у себя государств, но выказывает гораздо более внутренней жизненности, деятельного отношения к внешним развивающим влияниям. Самое отсутствие государственной жизни у малайского племени легко объясняется тем, что, будучи рассеяно на островах Великого и Индийского океанов, оно имело менее внешних причин к начатию этой жизни; потому что племенные столкновения из-за обладания землей и происходящие отсюда войны есть самая частая причина возникновения государств, как некоторой организации племени, при которой оно становится сильнее и может одержать победу в борьбе с соседним народом. Но и помимо отсутствия этих внешних причин, если бы даже при благоприятных обстоятельствах у малайцев не появилось государственной жизни, – это было бы слишком понятно ввиду близости их к

[31] Едва ли нужно оговаривать, что мулаты, происшедшие от смешения негров с белыми в Америке, вовсе не составляют какой-нибудь ступени в развитии первых. Это смешение, внешнее соединение двух самостоятельных элементов, но не внутреннее развитие одного из них в какую-либо высшую форму: последняя должна быть порождена путем скрытого органического усилия в пределах одной расы.

австралийской расе, на пути развития которой в белую они составляют только первую ступень. Но что они являются только ступенью, что в них процесс какого-то развития не замыкается, это видно из того, как много в их психическом складе внутреннего напряжения, как они только ожидают внешнего воздействия, чтобы нарушить свое неподвижное состояние и выступить на путь самоизменения. При одинаковости исходного первоначального состояния, это и является в них отличительною чертою при сравнении с неграми. Они гораздо более, нежели эти последние, восприимчивы к христианству, и замечательно, что усваивают не внешнюю только сторону его, но и внутреннюю, духовную: становятся кроткими и человеколюбивыми под его воздействием и даже выделяют уже из собственной своей среды пасторов и миссионеров. Также и к обучению они высказывают живую склонность и способности, равно как и в усвоении других элементов цивилизации являются не пассивными, но деятельными: так, они не только дозволяют торговать у себя европейцам, не только отвечают на их спрос или предложение, но, раз поняв, что такое торговля, они поняли и что дает она, повезли в далекие страны свои произведения и поехали за чужими сами. Второю ступенью в развитии австралийской расы нужно признать американскую: в красном цвете ее кожи мы видим исчезнувшими остатки темного, который находим еще в коричневом цвете малайцев; напротив, светлый отлив кожи кавказских народов в нем проступает яснее. Соответственно этому и духовное развитие американской расы поднимается еще на высшую ступень сравнительно с духовными способностями малайского племени: она уже образовала два государства, Мексику и Перу, которые были разрушены в XVI в. испанцами. В высшей степени замечательно, что филологические исследования наречий, на которых говорят краснокожие Северной Америки, обнаруживают все признаки вырождения, а не развития; откуда можно заключить, что и самые племена эти находятся в периоде упадка, разложения. Они суть единственные из американской расы, которые, будучи многочисленны и широко расселены, вместе с тем не имеют государственной жизни и вообще сколько-нибудь высокой цивилизации; об этой последней мы можем думать, на основании исследований их языка, что она была некогда в Северной Америке и потом погибла. Во всяком случае, и внешние физические черты, и духовные способности, выразившиеся в создании государственной жизни, хотя и в высшей степени своеобразной и слабой, указывают на положение американской расы между малайскою и монгольскою.

XV

В таком случае, нужно думать, что не из Азии Америка была заселена, но из Америки – Азия, и древнейшие племена этой последней обитают в северовосточном ее углу. Где-то около Берингова моря произошло то внутреннее органическое напряжение в недрах американской расы, которым были порождены предки нынешней монгольской. В желтом цвете этой последней почти исчезли всякие следы первоначального темного цвета; их не видно уже совершенно, и с тем вместе желтый цвет есть промежуточный между красным и белым. Если от физических черт мы обратимся к духовным, мы и здесь увидим, что монголы по времени своего происхождения должны предшествовать кавказской расе. В лице китайцев и японцев они имеют уже историю, хотя не столь разнообразную, богатую и глубокую, как можно было бы ожидать, принимая во внимание ее чрезвычайную продолжительность. Есть что-то неподвижное в этой истории; ей недостает богатой внутренней жизненности, нет энергии и свободы в ее явлениях; она так же несовершенна, бледна и механична в сравнении с историей народов кавказского племени, как бледна и несовершенна китайская живопись, если сравнить ее с итальянскою или фламандскою. Эта же бедность и безжизненность видна и во всех сферах китайского творчества. Их религия есть странная смесь мудрости, практичности, нравственных правил и космогонических представлений, в которой мы напрасно искали бы каких-нибудь порывов религиозного энтузиазма, живых тревог совести или высшего просветления. В ней, как и в науке, и в

литературе китайцев, мы можем многому удивляться, но ничему восторгаться. Как будто внутренний духовный огонь никогда не загорался в этой расе, и нет ничего в ней или в ее созданиях, что могло бы взволновать нас, растрогать, неудержимо повлечь к себе или очаровать собою. Мы смотрим на этот странный народ и его странные создания как на какой-то удивительный автомат, происхождения которого не знаем и который превосходит своим совершенством все другие, нам известные, но, как и они, остается для нас чем-то совершенно чуждым и посторонним; какая-то непереступаемая грань отделяет наш внутренний мир от тех скрытых пружин, которые его движут и направляют и которые так не похожи на то, что движет нас. Наш слух может заинтересоваться китайскою музыкой, наше зрение – их живописью и произведениями их ремесел, наконец, даже ум – их учреждениями и понятиями; но дальше этого внешнего любопытства мы не можем идти: у нас нет способности перейти границу, отделяющую их душу от нашей. Ни одного звука нет у этого народа, ни одной линии он не создал, ни одного слова не высказал – которые проникли бы в самую глубину нашей души, тронули бы сокровенные ее стороны и заставили их звучать ответным звуком себе. И подобно тому как самый искусный механизм беден сравнительно с самым простым живым существом, так и китайская цивилизация, несмотря на то что даже образованные классы европейских народов могут многому научиться из нее, многое заимствовать с пользой – в сущности скудна в сравнении даже с тем, чем духовно живут простые, необразованные классы наши. Простой напев нашего крестьянина заключает в себе гораздо более поэзии, нежели вся вычурная китайская литература; горячая, хотя бы и бессвязная молитва какого-нибудь юродивого – более носит в себе чистой религиозности, нежели все книги Конфуция. Эти примеры всего лучше могут объяснить, чего именно недостает монгольской расе: истинной и глубокой человечности, всей той красоты, игривости, свободы, которою запечатлена раса белая.

XVI

Мы находим в ней, однако, одну черту, которая совершенно отсутствует во всех ранее возникших расах и, впервые появляясь здесь, становится уже постоянною затем в кавказской расе. Именно, закон полярности, который ранее действием своим создавал только отдельные расы и, выделив каждую из них, уже не действовал внутри ее и не разлагал ее жизнь или историю на противуположности – впервые обнаруживает свое действие внутри монгольской расы. Негритянская, малайская и американская расы суть отдельные и совершенно цельные члены человечества, внутри которых мы не находим другой разновидности, кроме той, которая обусловлена широтой географического расселения их (например, отдельные государства Мексико и Перу) или особым влиянием той или иной местности (совершенная дикость одних, некоторая развитость других). Отсюда – единство в их жизни, общность явлений, которые мы наблюдаем в ней, отсутствие какого-либо разнообразия в быте или какой-нибудь индивидуальности в характерах, отсюда же – отсутствие у них истории как появления различий во времени. Окружающая природа, вечно та же в каждой отдельной стране, наложила на них печать свою, и, не имея внутренних стимулов развития, они тысячелетия несут на себе эту печать. Эта черта общности и постоянства впервые нарушается в монгольской расе. Однородная по происхождению, без каких-либо внешних отличительных особенностей на всем протяжении своего географического распределения, она является в истории с характером не только не постоянным всегда и повсюду, но, напротив, с диаметрально противуположным. Если Китай и Японию[32], относящиеся между собою как неодинаковые фазы одинакового развития, как две ступени

[32] Все сказанное ниже об Японии как будто опровергается последними успехами Японии в делах мира и брани; но эти успехи еще так новы, так малодлительны, а главное, так мало текут из оригинальных, расовых данных японского племени и обусловлены только успешностью технических заимствований, что, до времени по крайней мере, их можно обходить молчанием.

одной и той же лестницы, мы выделим из монгольской расы и соединим в одну группу, то увидим, что в пределах этой расы остается еще ряд народностей, также сходных между собою и потому сливающихся в одну группу, но уже настолько различную по своим психическим особенностям и исторической роли от китайцев и японцев, что всякая попытка соединить их в одно, обобщить в один тип – была бы напрасна. Историческая роль этой второй группы монгольских народов соединена с именами Чингис-Хана, Тимура и других многих подобных, но меньших, о делах которых не нужно напоминать, хотя они и не оставили после себя следов. Их назвали «народами-разрушителями», и история до сих пор стоит перед их странною, загадочною деятельностью, бессильная произнести в объяснение ее хотя бы одно слово. В некоторые моменты исторической жизни – не их, потому что они не имеют истории, но других народов – эти племена поднимались без всяких видимых причин или, по крайней мере, без таких причин, которые по своей значительности хотя сколько-нибудь отвечали бы значительности своих следствий; и, поднявшись, проходили разрушительным ураганом по жизни других народов и, точно выполнив какое-то назначение, снова упадали в прежнее ничтожество и безвестность, – до другого поднятия, всегда столь же беспричинного, столь же гибельного для других народов и столь же бесплодного, ненужного для них самих. Если бы в поднятиях этих была какая-нибудь последовательность, если бы им присуще было какое-нибудь развитие или хоть простая периодичность, они все-таки представляли бы собою нечто положительное, они слагались бы в историю, хотя и историю разрушения. Правда, подобной последовательности не вынесли бы другие народы, и история всех их возможна только потому, что одна половина монгольского племени не имеет истории, ее жизнь не образует собою развития. Но – и в этом лежит глубочайшая выдержанность психического склада рассматриваемых племен – все, что походило бы на какую-нибудь закономерность или правильность, отсутствует в их исторической деятельности. Они вполне отрицательны, потому что нет ничего утвердительного и постоянного в самой их отрицательности. Даже и разрушения они не созидают; они только время от времени производят его, строгие и последовательные.

Мы сказали, что внешних причин для их характерной и странной деятельности нет и никакого объяснения их исторической роли не существует. А между тем, если мы обратимся к закону полярности, мы увидим, что эта деятельность их и роль принудительно обусловлены уже в характере их соплеменников – другой, южной половины монгольской расы. Сравнивая деятельность этих племен с деятельностью других народов, например кавказской расы, мы найдем в той и другой только различие, но не найдем противоположности. Разрушение входит составною частью в жизнь всех народов, и каждый из них растет и развиваемся, только разрушая или тесня жизнь других народов. Но только это явление в их истории не изолировано и не очищено, оно смешано с другими разнообразными явлениями, частью просто различными, частью противоположными, и поэтому умеряется ими или закрывается, делается незаметным. Только один есть народ в истории, который не просто отличен от этих племен-разрушителей, но противоположен им по своему психическому складу и по всему смыслу своей истории: это – китайцы и японцы, первая великая ветвь монгольской расы. И в самом деле, как первые племена получили название «разрушителей», так эти народы должны бы быть названы «созидателями» – созидателями по преимуществу и в большой степени и чистоте, нежели народы какой-либо другой расы, в том числе и кавказской. Их трудолюбие так велико, что, как ни превзошли их европейцы во всех других отношениях, в этом одном они могут служить для них недосягаемым образцом, и их миролюбие столь исключительно, что даже для защиты себя, своего вечного и неустанного труда, они не могли придумать ничего другого, как только отгородиться «Великою стеной» от народов, которые могли помешать им. Если мы всмотримся глубже в самый характер их труда, мы найдем в нем поразительное соответствие с характером разрушения у северных монголов: как там под жаждой разрушить не скрывается ничего – никакой особенной ненависти или вражды к разрушаемому, ни даже – простого знания его; так здесь под

зиждущею деятельностью не лежит никакого сложного и глубокого внутреннего мира, который бы неудержимо искал выразиться в чем-либо внешнем. Отсюда – отсутствие жизненности во всем их творчестве: литература без поэзии, живопись без красоты, самая наука – без мудрости и пытливости. Как будто и рисовать они начали потому, что, найдя красящие вещества, нашли для них и способ употребления и с тем вместе – новую форму труда, к которой сейчас же прильнули, хотя и не понимали, куда она ведет, что достигнуто ею у других народов; и создали литературные произведения потому, что из всех способов употребления человеческого слова – нашли и этот новый: не только рассказывать о действительном, но и о том, чего нет, но что могло бы быть действительным; и, наконец, начали заниматься наукой потому, что их органы чувств требовали большего упражнения, нежели какое могли им доставить простые и непосредственные отношения к окружающему. Вот почему, как уже давно замечено, сделав многие изобретения, какие сделаны и европейцами, они не извлекли из них всех тех результатов, какие извлекли последние. Найдя их случайно, как можно думать, они увидели в них только новую сферу труда – возможность бесконечных повторений, но они не вдумывались в них и не искали еще чего-нибудь за ними скрытого, в них прямо не выраженного. Здесь же лежит объяснение и их поразительной замкнутости, которая всегда так удивляла европейцев: лишенные глубокого внутреннего содержания, они никогда не знали этого тревожного состояния, этих мук искания, которые заставляли европейцев переходить из страны в страну, от народа к народу, никогда и ничем не удовлетворяясь, с вечным отвращением к прежнему и вечною жаждой нового. Они были спокойны, всегда удовлетворены, потому что были всегда заняты. В своем труде они ничего не искали, кроме труда, и потому – ничего не нашли, или, даже и найдя что-нибудь случайно, – не замечали найденного, равнодушно проходили мимо [33]. Что-нибудь похожее на далекий замысел никогда не руководило их действиями; они не знали ни увлечений, ни разочарований, ни истинной радости, ни другого страдания, кроме простой боли. Отсюда – тот характер практичности и рассудочности, который с удивлением замечали в китайцах все проницательные наблюдатели. Погруженные в труд, за которым не скрывалось никакого содержания, они никогда не отвлекались от него; прошедшего и будущего как бы не существует для них, они не несут из первого никакого задатка и ничего не осуществляют нового во втором. Они всецело погружены в действительность и потому именно так хорошо все видят в ней, что им некуда больше смотреть. Все их достоинства, которым иногда столько завидуют, вытекают из одного глубокого, странного недостатка их природы: из ее внешности и формальности, из отсутствия содержания в их душе. Они не задумают ничего безумного, не рванутся к гибельному, не станут возводить Вавилонской башни, чтобы достать до неба; но это оттого, что и самого неба для них нет.

Отсюда вытекает то, что их деятельность, будучи столь рациональна в частностях, в целом носит на себе черты бессмысленного. Все в отдельности, что ни делают они, правильно и может быть названо хорошим; но эти отдельные дела их не составляют из себя ничего общего, о чем мы также могли бы сказать, что и оно правильно и хорошо. Никакая общая мысль не соединяет и не объединяет явления их жизни, никакому высшему плану не подчинены они. Их жизнь и история распадается на множество подробностей и за каждою из них лежит своя причина, свой частный повод, находящийся вне всякого соотношения со всякими другими поводами к каждой другой подробности. И это-то именно и делает китайскую цивилизацию, при всем любопытстве, которое возбуждает она своею внешностью, в сущности безынтересною. Она в высшей степени своеобразна, но это своеобразие заключается в том, что, будучи столь громадна, она лишена всякой связующей идеи. И если, на минуту забыв о ней, мы снова перенесемся к их северным соседям, мы поймем их жизнь и их душевный склад как противоположность

[33] Известно, что очень многие европейские открытия (как пороха) были сделаны ранее китайцами, но не повели у них к тем огромным последствиям, к каким повели Европу, застыв, как и все у них, в первой изобретенной фазе.

китайского, как его отрицание. Из всех народов, обитающих на земле, только вторая ветвь монгольского племени представляет из себя настоящих кочевников, подобных которым мы не встречаем ни в Северной и Южной Америке, ни во внутренней Африке, хотя они более благоприятны для этого образа жизни, нежели северная и центральная Азия. Покой и однообразие невыносимы для этих народов, как для китайцев невыносимы разнообразие и беспокойство. Как эти последние в своей жизни и в своей деятельности подчинены инстинкту созидания, так те подчинены инстинкту разрушения – столь же темному, столь же лишенному какой-либо руководящей мысли. Только в действии закона полярности, так могущественно выразившегося в противоположности психического склада этих двух великих племен, на которые распалась обширная монгольская раса, можно найти объяснение той неудержимости, с которою одно из них производило свои разрушения. Иначе каким образом понять, что, вопреки всем нуждам, отвращаясь от всего, чем дорожит человек обычно, – от покоя, от мирной жизни, от удовлетворения всех потребностей, они переходили через знойные пустыни и высокие горы, гибли на пути и в битвах, и все это без другой цели, без другого удовлетворения, кроме как видеть позади себя пирамиды из человеческих голов, видеть растерзанною жизнь людей, которых они ранее не знали и не видели. Не потребность в общепринятом значении служила для этого мотивом и не какие-либо внешние причины, какие мы привыкли отыскивать для человеческих действий. Здесь действовали силы и законы иные и высшего происхождения, понять природу и происхождение которых нам, вероятно, никогда не суждено, но наблюдать за внешним проявлением которых мы можем.

XVII

То, к чему последовательно поднимались расы, что яснее и яснее мерцает в чертах или физической и духовной природы, наконец получает свое осуществление в кавказской расе: в ней является наконец человек во всей полноте своих сил и в совершенной красоте. Замечательно, что хотя по численности своей она неизмеримо уступает численности остальных рас человеческого рода, однако всякий раз, когда мы начинаем говорить о человечестве и пытаемся определить свойства человеческой природы, – мы говорим собственно о белой расе и определяем ее свойства. И это не потому только, что мы сами принадлежим к ней: прием определения какого-либо существа через отвлечение общих свойств у наибольшего количества его представителей – столь прост и так уже вошел в наши умственные привычки, что мы, несомненно, сумели бы применить его и здесь. Но даже и попытки поступить так при изучении природы человеческой никогда не было делаемо; знающие и невежественные, осторожные и легкомысленные – даже ошибкой или случайно никогда не нарушили молчаливого согласия: понимать человека так, как он выразился в кавказской расе. Хотя и молчаливо, но допускается, что скорее есть погрешности, отступления от нормы во всех других необозримых массах человечества, нежели что они есть и в белой расе, и что для выделения их нужно сравнить ее с прочими и очистить от уклонений путем мысленного отсечения всего лишнего, что окажется при этом сравнении, и путем восполнения всего недостающего. Все особенное и частное, что отличает кавказскую расу от других, не только не исключается из общего понятия «человек», но, напротив, составляет самое существенное в этом понятии; тогда как общее у нее с другими расами оставляется большею частью в стороне, как незначащее. В основе всех этих странностей метода, кажущихся неправильностей умозаключения – лежит одно глубокое, хотя и невысказанное, убеждение: что человек белой расы есть норма и предел, который ни с чем другим не может быть сравниваем и через это другое оцениваем, но, напротив, сам служит мерилом и оценкой для другого, как бы этого другого ни было много. И действительно, во всех других расах человек есть достигаемое и только в кавказской – достигнутое уже. Мы находим в нем все, что и в представителях других рас, и еще нечто излишнее, но притом такое,

что можем открыть при внимательном исследовании и в других низших племенах, но только в зачаточном, неразвитом состоянии. И, как определение линии или круга, содержащееся в геометрии, мы никогда не станем изменять и приноровлять к смутным и сбивчивым описаниям несовершенных линий и кругов, наблюдаемых в действительности, так точно не станем мы и не хотим изменять понятие о человеке, основанное на знании белой расы, применительно к тем понятиям о нем, какие могли бы извлечь из наблюдения над остальными расами, обитающими землю.

Одухотворенность, высокое просветление природы человека каким-то внутренним содержанием – вот самое общее и точное определение особенности, которая отличает кавказскую расу от других. В противоположность монгольской расе, в которой существенное и основное есть деятельность и за нею не скрывается никакого сложного и глубокого содержания, в кавказской расе основным является именно содержание, внутренняя духовная жизнь; что же касается деятельности, то она служит здесь только невольным обнаружением этого содержания, то есть является вторичным уже, вызванным и обусловленным. Как ни разнообразна и ни обильна деятельность арийцев и семитов, этих двух главных ветвей, на которые распадается кавказская раса, – она нисколько не исчерпывает богатств внутренней жизни их, и отсюда-то в этой расе вечное томление духа, о котором так прекрасно говорит уже древний Экклезиаст и еще не перестают говорить самые новые поэты: вечное стремление к чему-то и всегдашнее неудовлетворение тем, что найдено. В искусствах, в науках и философии, в формах политической жизни – всем том, что было создано этою расой в ее долгом историческом существовании, мы открываем эту общую черту: перевес духа над деятельностью, и отсюда – переход от одной деятельности к другой. Здесь лежит объяснение многоформенности их искусств: что-то невыражающееся силится высказать в них ариец, и поэтому-то переходил он от линий архитектуры к тени и краскам живописи, от звуков музыки к музыкальной речи в лирике и эпосе – то беря все это изолированно, то соединяя вместе, как это мы видим в драме и опере. Отсюда вытекает то, что в науках и философии он так безгранично далеко переступил за пределы непосредственно открытого ему, – в противоположность всем другим народам, которые ничего не искали за этими пределами. Он жадно осмотрел всю землю и пытливо перечитал все, что было написано его предками, теперь уже погибшими племенами. Не довольствуясь этим, он вскрыл глубину земли и извлек из недр океана все. что там могло скрыться от его глаз; не удовольствовался вещами и явлениями, как они даны ему в ощущении, и, разложив первые, – открыл их элементы, а наблюдая вторые и размышляя о них – открыл силы и законы, о которых ничего не говорили ему чувства. Наконец, все еще думая, что за известным ему скрывается что-то неизвестное, он придумал способ посредством удивительных инструментов почти безгранично удлинить свое зрение и безгранично же утончить его, приблизить к себе все далекое и сделать большим все малое. Здесь же, в вечно тревожном и вечно чего-то ищущем духе кавказской расы, лежит объяснение и его политических судеб, этой неустанной жажды что-то построить, создать, и создав – вечно разрушить его, чтобы начать строить снова, иначе и по другим планам.

XVIII

Если от рассмотрения природы человека, каковою она является в высшем своем выражении – кавказской расе, мы возвратились бы опять к органическому процессу, через который, варьируя и совершенствуясь, все поднимались органические формы, – мы увидели бы, что человек есть грань и предел, где заканчивается этот процесс. Любопытно, что именно исследование явления красоты с несомненною силой убеждает нас в этом, – и та форма, которую принимает она в человеке, проливает истинный свет на природу самой органической энергии, лежащей внутри организмов и управляющей их трансформациями.

Во всех цветных расах человеческого рода мы находим то же отсутствие настоящей красоты и ту же простую красивость, какую находим в растениях и животных. И здесь, и там она выражается в грубых физических очертаниях и в окрашенности, причем ни первые, ни последняя не служат средством только для выражения чего-то иного и высшего, но нравятся сами по себе – откуда татуирование тела у диких, желание придать своей окрашенности еще и разнообразие. Напротив, у белой расы, которую справедливее было бы назвать бесцветною, эти грубые и внешние способы выражения красивого как бы меркнут и исчезают, и впервые проступает красота в своей истинной природе. Именно для того, чтобы возможно было проявиться ей, необходимо было предварительное исчезновение окрашенности, и вот почему общее духовное совершенствование в человеческих расах так замечательно совпадает с изменением цвета их, с его постепенным исчезновением.

Если мы захотим дать себе отчет, в чем именно состоит это преобразование простой красивости в красоту, то должны будем ответить, что оно заключается в проникновении духовного мира сквозь грубые черты физической природы; и в таком преображении этой последней, что она становится способною передавать, видоизменяясь, видоизменения первого. И в самом деле, лицо человека какой-нибудь цветной расы никогда не бывает истинно прекрасно, потому что оно никогда не бывает выразительно. Все тонкие переливы чувств, тихая радость или бесконечная грусть, одушевление какою-нибудь мыслью или спокойная созерцательность – все это, так легко выражающееся на бесцветном лице человека кавказской расы, совершенно скрывается под неподвижными чертами коричневого, черного или желтого лица.

В способе действия на нас красивого и прекрасного заключается та разница, что тогда как первое действует исключительно на наши чувства, зрение или слух, второе действует через них на нашу душу. От этого первым мы только любуемся – то есть испытываем наслаждение чисто внешнее; второе же созерцаем: это наслаждение внутреннее. И только потому, что красивое и прекрасное соединены между собою незаметными переходами, так что невозможно даже отметить момента, где второе уже начинает зарождаться в первом, – мы считаем их различными фазами в развитии одного и того же явления. Но низшая, неразвитая фаза каждого явления находит для себя всегда объяснение в высшей и развитой. Поэтому в природе красоты, каковою она является в человеке, мы должны искать разгадки красивого, которое находим в органическом мире.

Возбуждаемое внешними чертами какого-нибудь образа и входящее в нас через внешние же чувства ощущения красоты есть самое глубокое и внутреннее из всего, что человек переживает в себе. Это можно видеть из того, что всякое созерцание прекрасного образа мы силимся продлить, хотя его внешние черты уже давно и хорошо известны нам, – он как бы заволакивает от нас все окружающее, постороннее, прерывает наше общение с ним и погружает в какую-то забывчивость. Забывшись, мы перестаем, наконец, видеть и его внешние, грубые черты; они сливаются, смешиваются и тускнеют перед нами; созерцание все углубляется, ощущение красоты нарастает, и мы испытываем странное слияние своей души с самою сущностью того предмета, о внешних чертах которого забыли. И в самих себе мы не можем указать ничего частного, особенного, что служило бы восприемником чувства красоты, – как об усваиваемых мыслях можем сказать, что их воспринимает ум, о горестном или радующем – что его воспринимает чувство или о страсти – что она входит элементом в нашу волю. Чувство прекрасного общее всех этих факторов, из которых слагается психическая жизнь; оно относится к целой душе; и мы думаем даже, мы решаемся утверждать, боясь ошибиться не в сущности утверждения, но только в умении выразить его, – что красота есть самая природа души. Внутреннейшее, что есть в человеке, воспринимает прекрасное; и внутреннейшее, что есть в каком-либо другом существе, выражается в прекрасных чертах его образа.

Но ранее было указано, что все повышения красивого в органическом мире совпадают с повышениями в нем органической энергии – той скрытой силы, которая живет в каждом

существе лишь как в моменте своего воплощения, и потому именно превращает его в высшие и высшие формы. Эта сила, как было также указано, не имеет ничего общего с механическими силами природы и обнаруживает в способе своего действия черты целесообразности. Но целесообразное всегда есть продукт психического. Вот почему органическую жизнь, в темной глубине времен некогда впервые шевельнувшуюся на земле, затем все развивавшуюся и теперь разлитую во всем безгранично сложном царстве растений и животных, – мы должны рассматривать как проявление в веществе психической жизни. Полное же осуществление ее мы находим в природе человека – и дух его есть узел, завершение и источник всей органической природы. Он есть осуществление, а она – только осуществляющее, создающее его в грубом, материальном смысле, но, в сущности, созданная им, как средство создается своею целью, каждая ступень улучшения – конечным замыслом улучшенного.

Этим изъясняется глубокое и особенное действие красоты на душу человека: подобное возбуждается только подобным, и как в красоте выражается сокровеннейший нерв жизни, так на сокровеннейший же центр человеческого существа она и действует. Здесь происходит слияние того, что разграничено физическими преградами, но что, обитая в разных существах, в сущности есть одно, – как эта цифра 2 и та другая, в ином месте написанная 2, есть в сущности одно и то же число «два». И здесь, нам думается, лежит разгадка того явления, почему взаимное влечение двух полов – двух разделенных половин одного человеческого существа, которое мы называем любовью, сопровождается всегда ощущением красоты и ее действительным повышением: эти два факта не безразличны друг к другу, они тесно связаны, потому что выражают две стороны одного явления; любовь есть действительно сродство душ, доходящее до слияния их в одну, что физически и выражается в рождении обоими нового и одного одушевленного существа; а то, что предшествует этому слиянию, есть ощущение одною душою близости другой, то есть красоты другого подобного существа. Потому что, как уже замечено было, красота и есть душа всего живого.

XIX

Весьма замечательно, что трансформисты, признающие превращение одной органической формы в другую, и, следовательно, происхождение человека от какого-то другого вида животного, никогда не высказывают мысли, что и человек со временем перейдет еще в иную какую-нибудь высшую форму; хотя такой взгляд был бы в высшей степени естественен и последователен в теории трансформизма. Какой-то темный инстинкт мешает человеку смотреть и на себя как на одно из промежуточных звеньев в органическом процессе, хотя именно таковым является всякий зоологический вид, а homo sapiens составляет только один из них. Тревога за равновесие и целость солнечной системы, забота об охлаждении солнца и с ним – за охлаждение земли, все это мы находим в ученой литературе, хотя эти угрожающие факты если и вероятны, то не ранее как по истечении многих миллионов лет. Но никогда не являлось тревоги, что человек, который может погибнуть вместе со своею планетой, ранее этого времени превратится в какое-нибудь новое и высшее существо, относящееся к нему так, как он относится к семейству четвероруких обезьян. Что человек есть граница, предел в органическом процессе – это инстинктивно чувствуется всем человечеством.

Это инстинктивное сознание действительно оправдывается многими наблюдениями и аналогиями. Если движущее начало в органическом процессе есть органическая энергия, доселе устремлявшая формы все к высшим и высшим очертаниям, то в природе человека мы видим, что не только эти очертания достигают предела совершенства, но что органическая энергия и переливается за них, являясь в чистом и несвязанном виде как психическая жизнь. Уже самое появление ее в этом виде заставляет a priori думать, что, в вечных усилиях своих поднимать и улучшать организацию живого типа, она встретила, создав человека, какую-то

непреодолимую преграду. И действительно, многие любопытные изыскания обнаружили, что в устройстве его тела разрешены в предельной форме механические задачи совмещения силы, легкости и подвижности; так что всякое умаление чего-либо или увеличение, т. е. кажущееся усовершенствование какой-нибудь части, немедленно повлекло бы за собою ухудшение целого, нарушение в нем гармонии и равновесия. В этой предельности разрешенной механической задачи органическая энергия и встретила препятствие, которого она не может преодолеть: изменить организацию человека нельзя иначе, как только ухудшив ее, – что противно природе органической энергии, которая только улучшает. Отсюда понятно возникновение именно в человеке психической жизни, лишь просвечивающей в других живых существах на степени формирующего начала их организации. Там она не отделена от этой последней, не высвобождена из нее, потому что в возможности улучшения она имеет сферу и объект для своего действия.

Но и явившись в своем чистом и несвязном виде, органическая энергия и здесь сохраняет основные черты свои, вытекающие из природы ее как начала целесообразного. И в психической жизни человека, как ранее в мире животных и растений, она является силою неудержимо зиждущею и вечно устрояющею. Но так как в самом человеке нет уже ничего, что могло бы быть достроенным или улучшенным, то есть в нем нет предмета для ее деятельности, то она ищет и находит эти объекты вне его. Отсюда творчество человека в истории – устроение им внешних для себя вещей, создание сложных и великих организмов государства, науки и искусства.

XX

Глубже всмотревшись в это историческое творчество, мы откроем в нем замечательное соотношение с творчеством органическим, с новой стороны доказывающее, что в человеке заканчивается органический процесс и что, если суждено когда-нибудь умереть на земле жизни, она умрет с ним и в нем.

И в самом деле, между органическим творчеством и между психическим, как оно выразилось в истории, существует то замечательное соотношение, что всякий раз, когда первое не ослабевает – второе отсутствует, а когда появляется второе – ослабевает первое. И при этом умаление одного из этих видов творчества при возрастании другого совершается в столь строгой соразмерности, что невозможно отрицать общности и единства их происхождения. Эту общность мы и находим в органической энергии, которая, преобразуясь в психическую, ослабевает в собственных определениях; напротив, ни во что не переходя – сохраняется в прежнем виде, как энергия органического созидания.

Вследствие предельной формы человеческой организации, в ней органическая энергия, сохраняя свои прежние черты, может проявиться только в акте рождения – в воспроизведении ряда поколений, в которых она продолжает существовать после смерти их общего прародителя. Поэтому соотношение, о котором мы говорим, может быть прослежено на судьбе отдельных родов[34], из которых слагается каждая народность, – на их генезисе в связи с исторической деятельностью. Каждый род (gens) есть как бы отделившаяся, в лице своего прародителя, ветвь человеческого рода, несущая в себе некоторую определенную долю органической энергии, причем эта последняя, будучи неодинаковою в различных родах, в каждом из них, отдельно взятом, присутствует как постоянное количество. Этою энергиею живет род физически, и ее же проявляет он в своей исторической деятельности.

[34] Мы разумеем род в том определенном и замкнутом значении, как он выразился (всего полнее и чище) у римлян в патрициях, у греков – в эвпатридах и менее чисто и полно у всех исторических народов.

Рано исчезающие роды, и притом без проявления себя в истории, должны быть рассматриваемы как заключавшие в себе от начала незначительное количество органической энергии, которое и растратилось, преобразовавшись в ту слабую степень психической деятельности, которая обнаруживается каждым человеком в своей частной или семейной жизни. Мы не будем говорить об этих родах, так как, за отсутствием в них исторической деятельности, здесь не может быть обнаружено то соотношение, в которое входит эта деятельность вторым членом. Заметим только, что есть целые народности, представляющие аналогию с этими родами: имена их сохранены в истории, но они рано исчезли, придя в соприкосновение с другими народами, с которыми слились без какого-либо резко выраженного сопротивления. Полабские славяне и, отчасти, все обширное кельтическое племя в Европе могут служить лучшим примером подобных слабых народностей. В отличие от народов, совершенно не принимавших участия в истории (как, напр., финские племена), их можно назвать полуисторическими. Общая черта их заключается в том, что они замешиваются в движение всемирной истории чисто механически, внешним и случайным образом, но не составляют в этом движении никакого органического звена. Их отсутствие из нее, их выпадение, ни в чем не нарушило бы хода и смысла исторического развития: в нем недоставало бы только какого-нибудь побочного эпизода, или некоторые необходимые его звенья имели бы иную форму, иначе возникли бы, развились или окончились. До некоторой степени участие их во всемирной истории можно сравнить с ветром, который, замешавшись в древесную листву, шумит в ней и движет ее, но к росту этого дерева и внутренней жизни самих листьев не имеет никакого отношения, в очень редких случаях прерывает его и никогда не бывает ему нужен.

Что касается до строго исторических народов, судьба которых в точности известна, то на них мы можем проследить указанное выше соотношение, и в этом именно соотношении лежит истинное объяснение большинства явлений их жизни. По крайней мере, всё общее и важное в этой жизни – ее вековые, массовые черты, для которых так много и всегда напрасно историки искали каких-нибудь объясняющих начал или законов, разгадывается при свете этого соотношения.

XXI

Есть два типа исторического движения, и к одному из них сводится прошедшая жизнь каждого единичного народа. Один тип, обнимающий собою жизнь меньшинства исторических народов (таковы, например, китайцы, армяне, отчасти евреи), заключает в себе ту главную особенность, что в нем есть только передвижение частей, но нет движения целого, – вследствие чего явления, им обнимаемые, не слагают из себя никакого процесса, в котором последующее исходило бы из предыдущего, раскрывая смысл его. Жизнь народов, совершающаяся по этому типу, по причине указанной особенности представляется неподвижною, несмотря на постоянное движение, которое в ней происходит, на быструю смену явлений, на обилие лиц и событий.

Движение это можно сравнить с движением воды в водопаде: ни одна частица ее и ни на один момент не остается в покое, и, однако, в целом своем водопад представляется неподвижным; века проносятся над ним, а он сохраняет все тот же вид. Подобную же неподвижность при вечном движении представляла бы несущаяся вперед точка, которая, однажды получив толчок и потом не встречая никакого сопротивления и не испытывая действия никакой отклоняющей силы, продолжала бы нестись в безграничное пространство, не ускоряя и не замедляя своего полета. Если мы спросим себя, отчего же происходит этот особенный и странный покой – что есть тут такого, что сообщает подвижному черты неподвижного, – то должны будем ответить следующее: к изменению, однажды возникшему и продолжающемуся, здесь не привходит никакого нового изменения, а с тем вместе не привходит и никаких различий, которые могли бы сделать последующее не похожим на прежнее. У народа, жизнь которого замкнута в

этот тип генезиса, происходят войны, заключаются договоры, сменяются династии, наконец, он является то свободным, то порабощенным, сам владычествует или над ним владычествуют, – и, однако, во всем этом нет ничего, что заставило бы задуматься над собою историка или что могло бы внушить ему какую-нибудь общую идею. Все эти события – только частности, между собою не связанные; и для каждого из них достаточно указать отдельную причину, его породившую, чтоб оно было вполне ясным и понятным. При сильном соседе такой народ порабощается, при слабом – он господствует, без каких-либо внутренних причин для первого или второго. Он счастлив при добром и благоразумном государе и бедствует при злом, – и все это лежит вне всякой возможности предвидения.

Постоянство в существовании, неумирающая жизнь есть общая внешняя черта подобных народов. Однажды появившись в истории и ничего не привнося в нее, они остаются затем в ней неопределенно долгое время, то являясь участниками в ходе ее событий, но лишь внешним, до известной степени пассивным образом, то погружаясь в покой исключительно внутренней жизни. Черты некоторой дряхлости (Китай, Армения), может быть, и есть в них; но, появившись очень рано, эти черты затем нисколько не увеличиваются, и смерть не наступает для них. Эту незначительную дряхлость мы можем отнести, как к своей причине, к тому напряжению в них органической энергии и переходу ее в психическую деятельность, которое потребно было на первоначальное сложение их в нацию и государство, – что представляет собою все-таки историю, изменение в изменении, а не простое чередование событий. Но, затем, оставшаяся часть органической энергии, и в самом начале не очень значительной, уже передавалась у них без изменения, от поколения в поколение, ни во что не преобразуясь. Ее сохранение и есть истинная причина их долговечности в истории; а то, что, сохраняясь, она не преобразовывалась в психическую деятельность, есть причина их неподвижности. В них нет духовного творчества, и потому в жизни их не происходит нарастания в явлениях, которое сложило бы их в цельный, развивающийся процесс. Войны или мирные договоры, даже законодательства, какие у них есть – все это суть частные события в жизни их государей. Имея предметом своей деятельности жизнь целого народа или государства, эти последние только тогда проявили бы какое-нибудь психическое творчество, если бы в замысле их или в делах обнаружились какие-нибудь особенные и новые черты в сравнении с тем, что совершалось ранее. И как отсутствует творчество в ежедневной деятельности каждого частного человека, так отсутствует оно и здесь – в событиях народной или государственной жизни, производимых обычною деятельностью государей. Они не затрагивают внутреннего недра их существа: они происходят только на его поверхности. Заметим, что та незначительная психическая жизнь, которая проявляется и в частной деятельности, но не имеет здесь никакого подобия с глубиной и обилием жизни в моменты творчества, не сокращает исторического существования этих народов, потому что является таким же отражением органической энергии. как мы наблюдаем и в зачатках психической деятельности у животных, – но только отражением неизмеримо более ярким, так как и органическая энергия в человеке неизмеримо возросла.

XXII

Второй тип исторического движения есть развитие, и через него проходит жизнь большинства исторических народов. Судьба Греции может служить классическим примером этого второго типа генезиса, как Китай служит классическим примером первого типа. Его общею отличительною чертой служит то, что в нем есть движение целого, – и в него именно входит, как частность в общее, движение частей. Поэтому исторические явления, замкнутые в этот тип (войны, договоры, законодательства и пр.), имеют в себе каждое нечто частное, особенное, и все – нечто общее, связующее их в одно. Если мы анализируем эту общую часть, то увидим, что во времени она является нарастающею и усложняющеюся, и это-то именно нарас-

тание и усложнение и сообщает всему типу генезиса, о котором мы говорим, его отличительные, характерные черты. По ним мы можем назвать его процессом раскрывающимся, так как он весь слагается из фаз, из которых каждая последующая, являясь возросшею сравнительно с предыдущею, яснее раскрывает в себе то содержание, которое уже заключалось в ней, но лишь в смутном и неопределенном виде. Поэтому-то и в жизни народов, проходящей в форме этого процесса, каждое явление получает свой смысл и освещение не столько в предшествовавших или одновременных с ним обстоятельствах, сколько в том, что за ним последовало, во что перешло оно.

Вследствие того, что этот тип генезиса заключает в себе движение целого, а не частей только, – в нем не одни части и оканчиваются, не единичные только явления завершаются и прекращаются, но он весь оканчивается в своем целом. Это есть общая и постоянная черта народов, история которых слагается по его типу, что они суть народы постоянно возрастающие в красоте и силе своей духовной жизни и затем умирающие. Как жизнь в истинном смысле жизнь одним им присуща в истории, так и смерть есть их необходимый удел.

Рассмотрим и у этих народов соотношение между тратою органической энергии и между психическим творчеством. Если историческая жизнь племен, замкнутая в первый тип генезиса, обнаруживает только в самом общем виде это соотношение – как отсутствие траты энергии и с ним вечное продолжение рода при отсутствии духовного творчества, – то здесь, у народов, замкнутых в раскрывающийся генезис, мы можем наблюдать все частности, все вариации этого соотношения, и в них-то именно, являясь никогда не нарушенным, оно получает свое полное подтверждение и оправдание.

Но прежде, нежели перейти к этим частностям, скажем несколько слов в пояснение общей формы раскрывающегося процесса. Она строго вытекает из того, что в нем происходит преобразование органической энергии в высшую форму – в одухотворенность, потому что это преобразование может совершиться только по законам целесообразности. Как уже определено было выше, органическая энергия есть сила скрытой целесообразности, которая возрастает в своем напряжении по мере того, как подвигается во времени, подходит к завершению своему – к цели. Откуда, пока сферой ее действия была организованная материя – являлось усовершенствование этой организации, появление все высших и высших растительных и животных форм; а с переходом этой энергии в иной и высший вид закон движения ее не изменяется, и отсюда-то именно вытекает форма раскрывающегося процесса, в которую слагается историческая жизнь духовно-творческих народов. Во всем, что создается ими, будет ли то политическая форма, наука и философия или искусство – все последующее является более прекрасным и более мощным, нежели предыдущее, жизненность и красота созданий возрастает, как возрастает и сложность организации в растительном и животном мире, вариирующем в формах этого же раскрывающегося процесса. Самый ход событий в истории этих народов в высшей степени проникнут обычными чертами целесообразности: двигаясь медленно и будучи незначительными при начале, они все нарастают в размерах по мере того, как чередуются; самое развитие их ускоряется, и наконец, перед моментом завершения судеб народа, они приобретают поразительное величие и красоту и вместе – ужасающую быстроту в своем ходе, почти какую-то торопливость. Так, история греческого народа, продолжавшаяся приблизительно половину тысячелетия, в одном веке (V до Р. Х.), предшествовавшем ее падению, вмещает и греко-персидские войны, и век Перикла, и Пелопонезскую войну; вспомним также утороплeнный ход римской истории от конца 2-й Пунической войны до Августа: с небольшим в одном столетии здесь включено столько событий, и притом неизмеримо значительных, сколько их не заключено во всех предшествующих веках достоверной истории Рима.

Здесь и там мы одинаково наблюдаем, что события как бы какою-то беспорядочною толпой торопятся вперед, в них есть жадность бытия и движения, – мы поясняем: жадность достиг-

нуть и выразить цель свою, т. е. свой смысл, красоту, ранним отблеском которой они все жили, силою которой порождены были и длились во времени.

XXIII

Теперь переходим к частностям в жизни как названных двух, так и подобных народов. Не в полном составе своем живут они историческою жизнью, обнаруживая в ней психическое творчество: массанародная, и именно весь сельский люд и большая часть городского, всегда является в истории только служебным матерьялом, только пассивным орудием выполнения целей, которые зарождаются в мысли и страстях немногих отдельных людей или групп их. Эти последние образуют собою исторические роды (gens), и что бы ни служило основою их возвышения – древность происхождения, сводящаяся к древности первого важного деяния какого-нибудь предка, или богатство, или даровитость – во всяком случае, эти роды, однажды возвысившись, очень долго удерживают свое положение, и с их деятельностью неизменно связывается история целого народа. Эта историческая деятельность, каков бы ни был ее характер, на что бы ни была она направлена, всегда связана с большим напряжением духовных сил, нежели какого требует простая частная жизнь; и, следовательно, если соотношение, которое мы выясняем, правильно – она более истощает органическую энергию рода. И действительно, у всех исторически известных наций мы наблюдаем, что исторические роды угасают в них гораздо ранее, нежели неисторические, – и это внешним образом выражается в том, что подобные нации продолжают еще долго существовать как этнографический материал после того, как собственно история их уже закончилась. Хорошим примером этого могут служить греки, которые существуют две тысячи лет как этнографический материал, не произведя за это время ни одной гениальной личности, хотя прошедшее их родины и стоит перед ними как великий руководящий пример и образец; а ранее, в течение немногих сот лет своей истории и без всякого руководящего примера, они выдвинули из себя на всех разнообразных поприщах политической, умственной и художественной жизни великие дарования. Яркость и красота созданного этими даровитыми личностями, очевидно, истощила энергию нескольких исторических родов, и они угасли, а остальные роды продолжают до сих пор существовать, потому что они ничего выдающегося не создали и не совершили. Органическая энергия в них сохраняется, потому что она ни во что не переходит; а там, преобразовавшись в психическое творчество, она исчезла.

Заметим, что в каждом роде, будет ли он исторический или нет, органическая энергия есть количество постоянное – однажды (в акте рождения от предка) установившееся, и поэтому она распределена в нем таким образом, что всякое нарастание ее в одной личности сопровождается умалением во всех других. То есть, раз в психическом творчестве или в исторической деятельности она истощается, преобразуясь, – ее остается уже очень немного в исторических родах перед моментом их угасания. Это мы и наблюдаем в них действительно: последние представители исторических родов являют собою такие черты психической малоспособности, которые ставят их настолько же ниже обыкновенного уровня людей, насколько их предки стояли выше этого уровня; и как те возвышали свой народ и вели его за собою по историческому пути, так эти пятнают собою историю, некогда возвеличенную их родоначальниками, и вносят в нее своею деятельностью хаос и разрушение. Не силой характера своего вносят они его, но именно малоспособностью психическою, которая проявляется в сфере умственной – бессмыслием, в сфере чувства – отсутствием всякого живого порыва, в сфере воли – бесхарактерностью. Неудача сопутствует всякому их замыслу, нелепо задуманному или же нелепо выполняемому; и они невольно сходят с исторической сцены, отдаваясь исключительно частной жизни, как требующей менее сил; но и в ней, обладая еще высоким положением и часто богатством, они производят только низкое или преступное. Черты нравственного идиотизма проступают в

образе их жизни – в том, чего они желают или чем удовлетворяются; и, не нося в себе никакой задержки и только опасаясь карающего закона, они втайне развертывают свои извращенные и потухающие страсти без какой-либо жалости к людям, без какого-либо укора совести. С тем вместе робость и безволие постоянно сопутствуют им, и кто имеет в себе силу душевную – может без опасения гнести их всяческим унижением. Ненавидя и боясь, они все ниже и ниже склоняются перед сильным и, несмотря на величайшее тщеславие, переносят даже смешное. И, однако, в силу этого же тщеславия, они все еще пытаются выйти из сферы частной жизни: политическая для них невозможна – она требует энергии в самый момент действия, сейчас же, на что они не могут решиться; и вот они отдаются занятиям наукой, искусством и литературой – и вносят в них разложение и смерть, как и во все, к чему прикасаются, – сами едва ходящие мертвецы. Место поэзии занимает холодная реторика и противоестественное словоизвитие; наука становится бессмысленным собиранием незначительных фактов и ненужных сведений; наконец, живопись, скульптура и архитектура становятся вычурными и смешными. Отсутствие чего-либо простого, ясного и доброго есть общая и постоянная черта этого творчества. Не понимая сущности явления, которое перед ними совершается, оставшиеся истинные поэты думают остановить его неудержимый рост – и возникает новый род литературы, сатира – самый бесплодный и ненужный изо всех. Ее приветствуют все; от нее ожидают, что она что-то поправит в непоправимом; улучшит, когда можно было бы только пересоздать; но, как само собою разумеется, все эти ожидания бывают напрасны. Поношенные читатели ее, как и во всем другом, стараются и в ней превзойти всех других. Понимая во всем только внешнее, они придумывают самые необыкновенные пороки и выказывают отвращение к ним в самых длинных словах. Каждое из них чрезвычайно сильно, и они утешаются, что превзошли свои образцы и стяжали уже бессмертие; а поздний читатель их, удивляясь странному сочетанию необыкновенных выражений, с любопытством всматривается в больной ум и больное сердце, в которых могло все это зародиться.

Римское общество времен империи (и в частности, сословие сенаторов) может пояснить все сказанное. Едва ли нужно говорить, что в появлении подобного общества лежит роковая необходимость для всякого исторического народа, и он так же должен готовиться к нему, как всякий живущий человек, а не искусственный автомат, должен готовиться к старости и смерти. Оно составляет великое бремя для народа, обыкновенно еще здорового в это время в своих глубоких недрах; но как некогда он принимал от его предков все великое и благодетельное, так теперь должен перенести с мудрым терпением все нелепое и дурное. Стеснение по возможности их свободы, уничтожение чего-либо привилегированного в их положении, чем обычно пользуются еще они по наследию, – есть только необходимая мера самосохранения от них, и она должна быть принята; но, затем, они должны быть окружены вниманием, заботой и состраданием, не потому, чтобы заслужили все это – сами они ничего уже не могут заслужить, но только из уважения и благодарности к памяти их предков. В соотношении, которое разбираем мы, раскрывается великий смысл и глубокая справедливость аристократических форм общества: кто принимает доброе – должен принять и злое, и кто отдает все народу, даже жизнь и счастье своего рода – должен надеяться со временем и получить что-нибудь, хотя бы простое милосердие, к своему бедствию.

XXIV

Моменты временного понижения духовной жизни и окончательного падения исторических наций также находят свое объяснение в этом соотношении. Уже давно замечено, что за каждым великим усилием и высоким подвигом, который совершает какой-либо народ в своей истории, следует более или менее продолжительный период упадка его духовных и политических сил. Поразительный пример этого представляет Италия после Возрождения наук и

искусств и Германия после эпохи Реформации: на всем протяжении этих стран в течение длинного ряда лет не выходит из недр народа не только ни одного великого дарования; но, следя за наукой, за характером общества, за церковью и политикой, мы с удивлением видим повсюду такую посредственность ума и слабость характеров, какой не находим у тех же народов в самые незначущие, средние эпохи их жизни. То же можно сказать об Испании после века Филиппа II и Сервантеса, когда она стояла во главе великого движения католицизма против реформации и героически боролась с мусульманским Югом и Востоком; это же наблюдаем мы и в России в три последние четверти XVIII века, следовавшие за эпохой преобразования ее Петром Великим и его сподвижниками. Историки долго и всегда напрасно отыскивали причины для этих временных падений, и не находили ничего другого в объяснение, кроме сетований на деспотизм государей или на упадок образования, дурное состояние школ и испорченность нравов; но, конечно, это только те же проявления упадка, для которого ищется объяснение, – это есть для всех очевидное следствие, а не искомая его причина. В распределении органической энергии, которая, сосредоточиваясь в одном пункте, ослабевает во всех ближайших, лежит истинная причина этих исторических явлений. Великое усилие в сфере политики, религиозных идей или искусства настолько истощает силы нации, или, что то же, родов, ее составляющих собою, что в течение ряда десятилетий ее едва хватает на повторение поколений, в которых психическая жизнь тускла, просвечивает сквозь организацию менее, нежели как она светит в обыкновенном нормальном человеке. И только когда проходит достаточное время отдыха, снова и без всякой видимой причины начинается для нации духовное пробуждение. Так называемый «период бурных стремлений» в протестантской Германии есть, кажется, самый типичный и, может быть, самый прекрасный пример подобного пробуждения; у нас мы наблюдаем его в радостном оживлении общества и литературы в начале царствования Александра I. Насколько незначущи при этом бывают внешние причины, это можно видеть из того, что духовное творчество нашего общества все возрастало, несмотря на гнет его при Аракчееве, а в царствование Николая I стало классическим по красоте и достоинству своих созданий.

Психическое творчество человека также относится к органической энергии, которою физически живет он, как цвет и плод дерева относятся к его древесине и росту. Несмотря на полное несходство одного и другого во внешних чертах, по взаимной им обусловленности мы заключаем, что они суть двоякое выражение чего-то одного. И дерево, как человек, принеся плод, ослабевает на время; и для него наступает зимний сон, во время которого оно перестает расти. И замечательно, что чем обильнее было цветение, тем сильнее бывает наступающая слабость. Опытные садовники, зная это соотношение, обрывают завязывающийся цвет растения ранее, чем он распустится и принесет плод. Этим они сохраняют растению его силы и удлиняют жизнь его. Но в истории, как и в безыскусственной природе, все развивается свободно, подчиненное только великим законам своим. Однако это не мешает нам наблюдать над нею и, открывая эти законы, вдумываться в их глубокий смысл.

Есть даже растения, которые цветут только однажды и, принеся плод, умирают. Этот пример удобен для того, чтобы, снова возвратившись к истории, сказать еще несколько пояснительных слов об умирании исторических народов. Если всякий подъем в народе психического творчества вызывает упадок его сил на более или менее продолжительное время, то ряд этих подъемов (как в новой европейской истории) или постепенное и непрерывно возрастающее творчество, разрешающееся наконец множеством самых чудных созданий, появляющихся почти одновременно (как в античной истории), совершенно истощает его силы и производит его окончательное угасание. Только масса простого народа, которая, ежедневно физически трудясь, не имела никакой возможности преобразовать свою органическую энергию в психическую, остается жизненною и продолжает существовать как этнографический материал; исторические же роды, то есть совокупность высших классов, едва продолжают влачить свое существование. Они уменьшаются даже количественно, потому что рождения численно уже

не покрывают умираний. Гордые и замкнутые еще более, чем прежде, эти классы раскрываются и, хотя с отвращением, принимают в себя частицы простого, жизненного народа (Спарта, Афины, Рим); из них именно происходят в это время все замечательные люди (напр., лучшие римские императоры, римские полководцы времен переселения народов и пр.). Но появление этих выдающихся личностей становится все более и более редким, потому что частицы простого народа, допускаемые в себя высшими классами, никогда не бывают значительны. Между тем слабость и малоспособность этих классов все возрастает. Лежа на народе как бремя, они только разлагают те слои его, которые непосредственно с ними соприкасаются, но уже не могут оказать ему ни в чем помощи, не в состоянии повести его ни к чему трудному, как бы оно ни было необходимо. С ними и через них народ и государство становятся беззащитными среди окружающих, свежих племен и, в конце концов, поглощаются ими; подобно тому, как великие остатки какого-нибудь жилища, в котором лежит только труп того, кто некогда соорудил его, жил в нем и защищал его, – растаскиваются на потребности свои случайными пришельцами. Зрелище такого постепенного поглощения представляет собою Рим времен падения Западной империи: покоривший некогда все народы, он был растоптан по частям дикими полчищами германцев, даже имен предводителей которых мы большею частью не знаем.

XXV

Здесь же лежит объяснение гения. В отличие от всех других людей, которые являются промежуточными в истории, только продолжают в ней или подготовляют, он является в ней, всегда и один, заканчивающим. Длинный процесс какого-нибудь развития, в каждом звене которого мы открываем что-нибудь ясно недостающее, около которого трудились бесчисленные умы разной силы, – вдруг замыкается созданием, перед которым мы останавливаемся, удивленные; и полнота внутренняя, гармония частей, отсутствие чего-либо недостающего есть главное, что поражает нас в нем. Это придает подобному созданию предельность: созерцая его, мы чувствуем, что за границы его совершенства нельзя переступить, и, пытаясь повторить его в своем творчестве или подражать ему, – создаем только уродливое. Видя это, мы называем его идеалом, как вечно достигаемым и никогда не достижимым. Ощущение странной тоски есть, кажется, главное и самое общее, что мы испытываем, созерцая его: оно влечет нас в какую-то область, темную и загадочную, о которой мы раньше ничего не думали, и вдруг чувствуем в ней, в ее странной и обаятельной глубине, что-то самое близкое и родное, от чего мы только уклонились, забывшись, но куда нам нужно непременно идти, оставив все нужное, чем раньше жили. Гениальное создание, к какой бы сфере оно ни относилось, есть как бы луч, скользнувший по земле из иных и высших миров; и люди тянутся к нему, потому что и самая природа их – то, что есть в ней сокровенною и глубокого, неясного для них самих, – также из высших и иных миров, сродство с которыми они вдруг познают через созерцание подобного создания.

Уже давно замечено, что в характере гения лежит нечто особенное, что делает его непохожим на всех остальных людей. И действительно, среди них, лишь продолжающих историю, он, заканчивающий ее, стоит одиноко; и нет ничего, что могло бы разрушить положенную в самом строе души преграду, которая отделяет его от тех, с кем он живет, которые его окружают, любят или ненавидят, но никогда не могут понять. Чаще всего он сам не понимает, что отделяет его от них. Тщетно силится он переступить эту невидимую преграду, тянется ко всем радостям жизни, которые так хорошо понимает, которые так любит и которых вкусить ему никогда не дано. Нет никакой в нем недоверчивости, и, видя души людей, как прозрачные, он хочет ввести их и в свою душу, но здесь впервые чувствует, что какое-то взаимное несоответствие психического строя препятствует этому. По мере того, как проходит время, эта жажда человеческой близости становится неутолимее, желание примкнуть к чужой жизни – страстнее; он срывает с себя все, что людям могло бы показаться в нем странным или враждебным,

глубоко хоронит всякое отличие в себе и хочет войти к ним как равный или даже как низший. Напрасные усилия: своим проницающим взглядом он ясно видит, что даже жалкого и смешного (каким они всегда любят ближнего, за что прощают ему все глупое и даже злое) его они не любят; и смех, который он внушает им собою, не есть смех примиряющий и сближающий, но враждебный и отталкивающий.

Эта глубокая отъединенность от людей, быть может, становится, до некоторой степени, побуждением к творчеству. Видя напрасность всякого усилия стать дорогим для них при жизни, он хоть в воображении своем хочет пережить это счастье, хотя в далеких будущих временах; когда скроется его ненавистный для них образ и сменятся поколения их потомков, он начнет жить в уме тех потомков своею мыслью или в их сердце – теми чувствами, которые при жизни никогда не были разделены. Пусть они будут костью не от его кости и плотью не от его плоти, но эта чужая плоть и кость примет в себя его душу – он убьет в них то, что есть в них чужого, и поселит свое, чему не мог найти места при своей жизни. И в то время, как могилы их отцов будут забыты ими, он сам, забытый этими отцами, привлечет к своей могиле, хотя в поздние времена, их потомков; и они понесут на нее все свои тревоги и радости, все мучительные вопросы своей мысли и сокровенные надежды своего сердца. И оставят все, что завещали им отцы их, чем жили те отцы и что копили для своего потомства; и пойдут туда, куда они не хотели вести их – за звуком его имени, благословляя его память, осуществляя то именно, чего он так сильно и так напрасно желал при жизни.

Эта особенная и странная жажда жизни после смерти – если не руководит гением в его творчестве, то, по крайней мере, сопутствует этому творчеству; и в ней есть много темного и загадочного: как будто какое-то отвращение совершенной души к несовершенным, и отсюда желание погасить в них жизнь – содержится в этом чувстве, почти преступном. Совершенная мысль гения, завещанная им в трудах его, в самом зародыше убивает тысячи мыслей в миллионах чужих душ, вырывает еще не взросшую жатву и вместо всего разнообразия, какое она представила бы собою, разрастается великим, но одиноким деревом. Во всяком случае, вместе с совершенством, которое вносит гений в духовный мир людей, он вносит в него и некоторый уклон к единству; вместе с радостным и близким, что несет его труд людям, он несет в себе и нечто губительное. И в ту особенную тоску, которую испытывают люди, созерцая гениальное создание, – быть может, не малою долей входит тоска по своей жизни, по тому невзросшему миру темных мыслей и желаний, которые никогда более не пробудятся, обожженные знойным лучом совершенного создания.

Чувство отъединенности своей от людей, сознание невозможности прикоснуться к простым и тихим радостям земли и это преступное желание погубить еще не родившуюся жизнь входит только частью, и притом не главною, в то особенное и сумрачное настроение, которое уже в древности было отмечено как постоянная черта гения. Из-за ощущения несоответствия своего со всем живущим, встает мало-помалу иное ощущение в нем, в котором содержится разгадка всего странного и непонятного, что от начала он чувствует в себе: это – ощущение близости смерти, гораздо более ясное, чем у других людей, и наступающее гораздо ранее, чем придет физическая смерть. Жалкое и напрасное усилие от нее уклониться порождает в нем эту странную жажду жизни после смерти, в душе хотя бы иных людей, но непременно здесь, на земле; и ее же холодное веяние и желание всякого живого существа убежать от нее поселяет то враждебное между ним и другими людьми, чего не могут они объяснить себе и что он не в силах преодолеть. Все закрыто от него на земле, все от него отделено на ней; и только вечное небо сияет над ним, с ним одним не порвана его связь и соотношение. Он видит его тем ярче и тем отчетливее, чем глубже смертный сумрак, обволакивающий его со всех сторон, кроме одной, и закрывающий от него все земное. Закрывая усталые глаза на землю, покорившись особенностям своей природы, он как бы в некотором видении открывает их в небо; и те высокие истины, которые открываются ему там, высшую и просветленную красоту – все это он

сводит на землю, едва пересиливая себя, чтобы через внешний образ или в звуке слов сделать понятным и восприемлемым для людей то, что он созерцал без слов и без образов.

XXVI

И в самом деле, если для других людей земная смерть наступает лишь в относительном, условном смысле, то для гения она наступает в значении абсолютном и совершенном. Являясь промежуточным звеном в истории, каждый человек несет в себе жизнь, принятую от другого, и, умирая, передает ее своему преемнику; один гений только принимает, но уже никому не передает жизнь: она угасает в нем – для вечной жизни в его созданиях. Во всяком случае, из сферы человеческого существа он уходит, теряет свою связь с его образом. Как человек есть грань органического процесса, где он заканчивается, не продолжаясь далее; так гений есть грань и предел человечества, в лице которого оно (частично) потухает. Таким образом, в то время как для всякого иного существа смерть есть только индивидуальное умирание, только упадание отдельной волны в воды океана, который сам остается, – для гения смерть есть родовое, и даже более – органическое умирание: в нем не волна всплеснувшая упадает, а пересыхает сам великий океан. Отсюда понятно то особенное чувство, которое он несет в себе, и особенное и странное ощущение, которое испытывают все, кому случится соприкоснуться с ним. Его внутренний мир не похож на внутренний мир других людей, и судьба его иная, чем их; есть действительно несоответствие в их психическом строе.

Внешним образом это выражается в том, что в гении заканчивается род, его породивший, вся энергия которого без остатка преобразуется в его психическое творчество. Если мы возьмем важнейшие сферы исторического созидания и выделим всех великих людей, трудом которых они воздвиглись, то заметим, что ни в одном из этих людей не было нарушено раскрываемое нами соотношение между силой индивидуального творчества (духовного) и слабостью родового (физического). Именно, всякий раз, когда творчество было безусловно гениально – безусловно пресекался в творящем род его (gens); а когда оно было близко к гениальному – род продолжался, но или только в лице женского потомства, то есть не несущего в себе энергии дальнейшего органического созидания, или если и в мужском, то в чрезвычайно хилом, малоспособном физически и духовно, редко достигающем полных лет и обыкновенно угасающем в первом же колене. В политической истории этим объясняется, почему за всеми великими царствованиями следуют или междоусобия (в случае совершенного прекращения династии в лице великого государя), или чрезвычайное замешательство, ухудшение и даже остановка всех дел (в случае продолжения династии в лице малоспособных преемников великого государя). Достаточно указать на судьбу Греции после Александра Великого, Рима – после Цезаря, средней Европы – после Карла Великого, России – после Иоанна IV и Петра I, чтобы объяснить мысль, которую мы высказываем и для полного подтверждения которой нужны бы обстоятельные исторические исследования, здесь неуместные. Но мысль эта находит еще более подтверждения, если от политического творчества мы обратимся к чисто духовному: Фидий, Рафаэль и Бетховен в сфере искусства, Платон и Аристотель, Декарт и Бэкон, Спиноза, Лейбниц и Кант в сфере чистой мысли, Коперник, Кеплер и Ньютон в сфере точного знания и почти все великие поэты – оправдывают в высшей степени это соотношение, в размерах дарования своего и отсутствия или слабости потомства представляя все оттенки, все переливающиеся степени этого соотношения. Нельзя указать в истории ни на один род, который выдержал бы появление двух гениальных в себе личностей; если он заканчивается высокими дарованиями и их несколько – они только талантливы (семья Бахов в музыке); гений же истинный всегда и совершенно истощает в себе силы своего рода, и они должны быть значительны и ранее нисколько не растрачены в исторической деятельности, чтобы он был действительно велик. Этим объясняется, почему в момент высшего расцвета национальной жизни, когда появляется столько гени-

ального в ней, на историческую сцену вдруг выступают новые роды, ничем особенным ранее не проявившие себя, хотя бы высокие по общественному положению (напр., Кай Гракх, Сулла и Цезарь в Риме), и они совершенно затмевают собою старые деятельные роды (род Фабиев в Риме): эти последние в долгом историческом труде уже настолько истощили свою энергию, что хотя и теперь еще продолжают выделять из себя даровитые личности, но уже не могут, как прежде, вести вперед историю. Ее ведут в этот последний момент и заканчивают гении, в духовных силах которых сосредоточена нерастраченная энергия дотоле неизвестных родов, и она растрачивается в них одновременно и вся, потому что и роды эти, произведя гениальную личность, угасают с нею или вокруг нее, лишь недалеко отойдя от нее во времени.

Есть много мелочных, но любопытных черт и в физической организации, и в частной, внутренней жизни каждого гениального человека, которые все подтверждают только что высказанный взгляд на него. Подобно тому, как в органической природе натуралисты замечают, что жизненная энергия, уже выразившаяся в одной форме красоты, не выражается ни в какой другой ее форме, вследствие чего, например, красота оперения у птиц не совпадает со звучностью голоса; так и в чертах гения, красотою созданий которого мы любуемся, мы видим часто померкнувшей обыкновенную физическую красоту. И если, пораженные этим явлением, мы глубже будем всматриваться в черты его лица, мы откроем в них не только отсутствие красивого, но часто и присутствие чего-то отвратительного, отталкивающего (напр., лицо Декарта или еще Канта). Тусклый, чаще всего неподвижный взгляд, неприятное сложение рта, наконец, как замечают многие, нарушение самой симметрии в строении лица (неполное подобие правой и левой стороны его) – все это вскрывает перед нами самую глубь гения, в котором органический строй человеческого тела уже пошатнулся, ослабел центр его и не сдерживает более в гармонии соответствующих друг другу частей… Все полно смерти и разрушения.

XXVII

Если, вчитываясь в биографии великих людей, мы обратим внимание на возраст, в котором возникли их великие создания, мы с новой стороны увидим подтверждение всего сказанного. Несомненно, что самое выполнение этих созданий и техника творчества есть нечто второстепенное и незначущее сравнительно с самым замыслом их; и в этом отношении представляет величайшую важность точное определение времени, когда возник этот последний по отношению к каждому единичному произведению. Насколько мы имеем в точных биографических данных подобные определения, они относят возникновение всех великих замыслов, исполнение которых видела история, ко времени первой молодости гениальных людей; позднее 30 лет едва ли была создана хоть одна великая идея, задуман политический план или вспыхнул образ художественного создания. С этого времени обыкновенно наступает уже исполнение замысла – то, что мы назвали выше техникой творчества. Гёте и Ньютон, глубина созданий которых, казалось бы, безусловно исключает всякое представление о молодости, в действительности именно в этом возрасте задумали – первый своего «Фауста», а второй – все свои великие теории, и между ними теорию всемирного тяготения; великие же открытия его в математике (теория флюксий, бином и др.) все сделаны были приблизительно на 23-м и 24-м годах жизни. В этом же, приблизительно, возрасте Декарт открыл аналитическую геометрию и принципы новой философии; Бэкон задумал «Novum Organon»; немного старше этих лет Рафаэль и Моцарт сошли в могилу, создав ряд творений, которые впервые шевельнулись в них, в неясном образе, без сомнения в годы почти еще отрочества. Как будто какое-то глубокое и скрытое колебание происходит в организации гениального человека в возрасте, когда обыкновенно наступает для человека время физической (половой) зрелости; станет ли он, в ряду других людей, только продолжателем своего рода или создаст чудные произведения в сфере мысли, искусства или политики – все это определяется в этот момент, все остается скрытым до вре-

мени, пока не наступит разрешение указанного колебания. Что обусловливает это решение в одну или другую сторону – мы даже и догадываться не можем. Но вот оно совершается; вся органическая энергия, именно теперь достигшая полного внутреннего напряжения и уже готовая бы передаться в том же виде потомству, вместо этого через какой-то неисследимый акт преобразуется в психическую; и, в одно время, и потухает в нем род, и зарождаются чудные замыслы будущих творений.

Есть только одна черта, которая отличает гениальное создание от всех других, не гениальных, того же рода: оно полно жизни, оно неугасимо живет среди людей, сковывая их мысль своею мыслью, порабощая их чувства в нем разлитым чувством, покоряя их волю, если относится к сфере политики, нравственности или права. Никогда даже не пытались определить, откуда истекает эта особенная жизненность всего гениального. Но после всего изложенного выше это должно быть ясно: оно несет в себе жизнь бесчисленного ряда людских поколений, которые не произойдут больше, которые угасли, не появившись – для вечной жизни в объективированном создании. Тот, в ком произошло это странное, глубокое и таинственное явление, имя кого не сойдет более с уст людей, сам стоит среди них, погруженный в себя, с потухающим взглядом, – и они называют его «гением».

XXVIII

Если бы мы захотели дать себе отчет, что между гениальными созданиями человека есть самое вековечное и наиболее достойное, то, после некоторого колебания, без сомнения, назвали бы сферу религиозного и нравственного. Если другими созданиями гения человек наслаждается и, наслаждаясь, тоскует по каком-то и далеком и близком мире, который ему, однако, не открывается в них, – то, встретив религиозное или нравственное, он вдруг перестает искать иных и закрытых миров, о которых он почему-то знает; начинает любить это религиозное и сливается с ним так тесно своею душой, что всегда почти предпочитает расстаться со своею жизнью, нежели расстаться с ним. Преобразуется ли при этом душа его, или именно оно, это религиозное, и становится самою душой в нем – об этом мы не можем судить; но только история свидетельствует нам всем своим содержанием, что хотя ни в какой религии не говорится ни о чем осязаемом и грубо известном, хотя никому она не обещает никаких благ, и особенно – благ земных, также осязаемых и уже, несомненно, известных – однако целые народы поднимались на защиту того, что в этой сфере они считали истинным, и погибали без какого бы то ни было сожаления о том, что гибнут. Напротив, их лица светились радостью, они благословляли свою смерть за такое дело и умирали с надеждою на какую-то иную и вечную жизнь. В религии то, что наступает для человека за гробом, и есть именно самое значущее и важное; земная же жизнь человека есть только ничтожный обрывок целого, не имеющий вне отношения к нему никакой важности. Равно и все, что он создает в этой жизни гениального или вульгарного, чему хочет и пытается придать значение абсолютного – религиею рассматривается как второстепенное и временное; а главное – она учит – там, за гробом, куда не унесет человек созданий своего гения, куда он уйдет один, оставив по сю сторону все, что его так радовало или забавляло при жизни.

И удивительно, что все эти учения о том, о чем никакое внешнее чувство и никакой предмет не говорят человеку, он принимает с совершенною твердостью и повсеместно. Соберите перед несколькими простыми людьми, вечно жившими только грубым опытом, тесным знанием окружающего, толпу ученых, и если они станут им говорить о том, что земля есть шар, который они объехали кругом, сперва как бы спустившись вниз и потом поднявшись вверх, – слушающие найдут это маловероятным и не поверят, найдут противоречие с этим в своем ежедневном опыте и отвергнут как чудесное и невозможное. Но вот перед эту же толпу людей приходит человек, почти столь же простой, как они сами, и начинает говорить им о том, что, когда

человек умрет и все видят его труп, он, в сущности, не умирает, но только переходит в иную жизнь, радостную и вечную; и іа же толпа, которая на уверения ученых упорно и тупо молчала, услышав эти совершенно необыкновенные слова, радостно и твердо говорит: «Да, это так, это будет», хотя совершенно не знает, как это будет, и почему, и где эта удивительная жизнь за гробом. Какое странное различие в восприятии истин равно маловероятных, равно неизвестных из окружающего, и где причина этого различия – подумано ли об этом достаточно?

Итак, мы должны признать существование в человеке некоторого темного инстинкта, где хранятся его религиозные влечения или идеи и который до времени остается как бы безжизненным, но пробуждается навстречу идеям и влечениям, идущим извне. У одних людей этот инстинкт находится как бы в скованном состоянии и его содержание скудно, у других же он полон жизненности и обилен по содержанию: но по чрезвычайной его распространенности в роде человеческом – мы должны думать, что совершенно нет людей, у которых бы он отсутствовал, хотя и есть между ними вполне отвергающие религию. Как у слепорожденных и глухих мы находим органы зрения и слуха, но только недоразвитые и от этого одного не действующие, – так и у людей, искренно и правдиво говорящих, что они не чувствуют в себе ничего религиозного, объективно мы должны признать существование этого общего человечеству инстинкта, но лишь в состоянии зачаточном, болезненно недоразвившемся, который потому и не действует.

Его проявление в истории образует то, что мы называем религиями, но, конечно, рассеянные черты религиозного проникают всю жизнь человека, сопутствуют словам его и поступкам, когда они и не имеют прямого отношения к религии. Каждое доброе чувство к ближнему, радость на чужое счастье, высказывание правды, когда оно почему-либо трудно – все светлое и, мы готовы сказать, истинно жизненное на земле есть религиозное; все то, что успокаивает нашу душу и исполняет ее чувством счастья, совершенного и вечного удовлетворения, – таково лишь в силу религиозной природы своей.

Но это – только черты религиозного, то есть отделившиеся части чего то, что существует и как целое. Природа человеческой души, ее существование за гробом и отношение там к чему-то высшему и безусловному, с чем она имеет какое-то сродство, неощутимую связь – вот что составляет это целое, рассеянные черты которого мы так любим в своей жизни. Любопытно наблюдать, как неодинаково у различных народов, населяющих землю, выражаются эти главные, составные части всякой религии. По мере того, как мы спускаемся к низшим и низшим расам человечества, мы видим у них религиозные представления все более грубыми или недостаточными, суживающимися и затемненными. Как будто то, через что проходит в человеческую душу религиозный свет, становится все меньше по мере того, как мы отходим назад в историю или спускаемся вниз по ступеням развития человеческого рода; и увеличению этого света повсюду сопутствует возрастание совершенства человеческой природы, как духовной, так и физической. Но окончательно этот свет нигде не угасает, и, можно сказать, где он начинается – там начинается человек.

XXIX

На различие в религиях, которое породило столько неправильных отношений к себе, мы должны смотреть как на степени, как на несовершенные усилия слабой природы человека правильно отнестись к тому, к чему истинное отношение существует одно. Их содержимое – то, к чему стремятся все религии, чего они все ищут, – есть одно для всех людей, и одинаково они чувствуют это, но по различию своей духовной организации, по неодинаковому уровню своих способностей не умеют придать единство и общность выражению своего чувства. Но так как правдивость, глубочайшая сериозность есть общая черта всякого отношения к религии, то каждое племя человеческое, вместо того чтобы притворно поклоняться совершенным спо-

собом, которого оно не понимает – у себя наедине и скрываясь от взоров остальных людей, поклоняется горестно и несовершенно, но правдиво и сериезно тому же высшему, чему поклоняются и все люди; поклоняется в жалкой и неумелой форме. Тайное и глубокое сознание несовершенства своего поклонения, вероятно, присуще всем низшим религиям, и от этого именно они тщательно скрывают от других народов точное знание себя, окутываются мраком и таинственностью. Если бы кто-нибудь, приобретя это точное знание о религиозных представлениях какого-нибудь племени, сказал людям, принадлежащим к нему: «Только-то вы понимаете о том существе, которому поклоняетесь, – вот все, что я у вас узнал о нем», – они, без сомнения, резко отвергнули бы полноту его сведений, со стыдом и трепетом, но и с ненавистью к спрашивающему, который их мучит за малоспособность, – и в ней они не виновны. В этом отрицании и высказалось бы признание несовершенства своего поклонения, а в этом стыде и трепете – чувство беспомощности своей подняться к высшему и лучшему.

Некоторое подобие этих различий мы можем найти в других сферах человеческого творчества: все люди имеют некоторые геометрические представления (например, что тела природы, кроме длины, ширины и высоты, не имеют еще никакого четвертого измерения), но не умеют сколько-нибудь правильно выразить их; другие, уже наученные несколько, умеют выражать, хотя и не в строго научной форме, ошибаясь и путая, свои геометрические понятия, более сложные, чем те, которые знакомы всем людям; по мере возрастания годов учения и в меру способностей учащихся – эти знания, их точность и обширность возрастают; но и те, которые, отличаясь даже гениальными способностями, всю долгую жизнь свою посвящали изучению математики – знают, что многое в ней остается скрытым от них. Итак, область действительных истин о пространстве и его формах неизмеримо обширнее того, что усвоено и, может быть, что усвоимо человеком. Так и в сфере религии полнота истины скрыта от человека, и даже части этой истины, одни данные в удел ему, он выражает менее совершенно и более совершенно, по мере даров природы, которыми наделен. Быть может, еще ближе подойдет уподобление, взятое из сферы чувства: за то, что близко и дорого дикарю, что ему родное – он, как и высокоразвитый человек, отдает свою жизнь; но выразить свое чувство к нему он не может иначе, кроме как в нескольких бедных словах, простых и неукрашенных, порою бессвязных. Прислушайтесь же к тому, что говорит об этом самом дорогом существе высокоодаренный человек: он окружает его поэзией – то рассказывает о нем вымыслы, то поет его в песне, то мудро рассуждает о его значении. Однако чувство обоих, в силе своей и достоинстве, остается одно.

Поэтому сознание своей ограниченности должно быть присуще каждому религиозному человеку; и вместе – чувство сострадания ко всему, что не может воспринять религиозного, даже и в той несовершенной форме, в какой оно стало уже доступно ему. Полный примирения взгляд на все религии, радость религиозному чувству в другом, в какой бы неумелой форме оно ни выражалось, при совершенно твердой уверенности, что истинная форма такого выражения есть только одна – все это должно стать естественным последствием такого живого отношения к религии и глубокого сознания человеческой слабости.

XXX

Важнейшее различие между религией и между другими сферами человеческого творчества заключается в неодинаковом отношении их к своему объекту. Возьмем ли мы искусство, государство, науку, – в каждый момент своего существования, в каждом единичном своем проявлении, они лишь слабо сознают свое отношение к общим и неподвижным объектам, в них выражаемым: к красоте в самой себе, к благу в самом себе, к истине в самой себе. Главное, значущее в них, есть они сами: данное учреждение или закон, данное познание того или иного предмета, эта статуя, эта картина. Напротив, каждая религия и во всякий момент своего существования бывает полна сознания своего объекта – того Вечного Существа, к которому она

относится; и каждый отдельный акт в ней, каждый предмет или явление в ее сфере постоянно обращены бывают к этому объекту, вне связи с ним не имеют вовсе никакого значения. Таким образом, центр, связующий и объединяющий все порознь создания в известной области, слаб повсюду, кроме религии, и каждая такая область является перед нами как мир отдельных и самостоятельных предметов, но только сходных между собою, например скульптура – как ряд скульптурных произведений, наука – как совокупность исследованных фактов и также все прочее подобное. В религии же этот связующий и объединяющий центр могущественно господствует над всеми отдельными ее проявлениями, и о всякой религии мы скажем, что она есть поклонение Богу, совершающееся так-то, но никогда не скажем, указывая на группу предметов (ритуал) или фактов (история), что они суть религия.

Таким образом, в то время, как о других сферах творчества мы еще можем думать, что в них дух человеческий хочет выразить только богатство своего содержания, – о религии мы должны сказать, что в ней дух человеческий своего ничего не имеет – он только ищет, стремится. В ней мы открываем, наконец, объект, к которому направляется психическая деятельность человека, здесь именно наиболее напряженная, самая прекрасная, вековечная. Самый характер этой деятельности здесь настолько изменяется, что нам странно назвать ее «творчеством», как мы называем ее всюду: действие объекта становится так сильно и настолько ясно, что мы называем ее «восприятием».

Но здесь мы достигли границы как предмета, который исследуем, так равно и самого исследования. Вечное солнце, скрытый центр жизни, под далеким лучом которого некогда впервые шевельнулось вещество особенно и своеобразно и затем потянулось к нему куда-то, с каждым шагом приближения становясь все оживленнее и прекраснее – этот центр нам открывается, наконец, в религии как объект ее. Без какого-либо перерыва, следя за рядом восходящих существ, развивающихся одно из другого, мы, наконец, достигли грани его – человека, на котором цепь органического восхождения прерывается; но, достигнув этой грани, органическая энергия не останавливается, а, преобразовавшись в психическую, является в человеке как сила по-прежнему движущая и устрояющая, но уже не его самого, а его создания. Следя и здесь за восхождением, которое продолжается, как и прежде, но только с иными внешними чертами и в иной сфере, мы отмечаем как предварительную ступень его – образование человеческих рас, и затем в последней и предельной из них – кавказской, находим историю. В этом новом и своеобразном явлении природы процесс восходящего творчества выражен особенно ярко и резко, и в нем появляется черта, которая впервые бросает свет на общий смысл всего восхождения, на его вероятный конечный исход: каждое поднятие по ее ступеням, всякий акт психического творчества сообразно мере своей сопровождается ослаблением организации, из которой он исходит; человечество тает, восходя куда-то и по мере того, как восходит. Находя различия в силе и красоте творчества, мы отыскиваем высшую грань его, непереступаемый предел – в гениальном; и, присматриваясь к нему внимательнее, видим, что в нем завершается история и оканчивается человек: первая не восходит более и физические черты второго расшатываются и гаснут. Сравнивая различные сферы, где проявляется гений, с целью отыскать высшую между ними и в ней снова открыть нить восхождения, мы останавливаемся на религиозном, как высшем на земле и драгоценнейшем для человека. Более чем где-нибудь, достигнув этой сферы, человек обнаруживает беспокойство, силится освободиться от чего-то тягостного, сбросить с себя что-то, и лишь настолько, насколько не успевает в этом, остается еще неудовлетворенным. Чувство окончательной удовлетворенности есть самое замечательное и совершенно исключительное, что приносит с собою человеку религия, и этот факт полон самого глубокого смысла. Великий Гёте, счастливый и спокойный, каким мы привыкли считать его, сказал однажды, что если собрать все минуты его жизни, когда он был счастлив, то их едва наберется несколько часов. Какое грустное сознание, какая глубокая тайна всей жизни человека высказана в этих немногих словах: как беден и жалок, как слеп представится нам

этот прозорливец-гений, если мы сравним его с каким-нибудь убогим странником без имени, который, кажется, должен бы вечно проклинать судьбу свою и вместо этого показывает нам веселое лицо свое, говорит, что у него есть что-то, вследствие чего он никогда не может быть несчастлив.

Нам остается сказать только несколько слов, чтобы закончить мысль свою. Если в других областях творчества только созидание, но не восприятие созданного вызывает в большей или меньшей степени угасание физической организации человека, то в сфере религии не только созидание, но и всякое очень сильное восприятие созданного сопровождается подобным угасанием. И здесь лежит объяснение аскетизма – этой особенности религиозной жизни, которая такою глубокою и резкою чертой отмечает всякое повышение религиозного чувства и так странна для всякого внешнего наблюдателя, так необычайна в истории. Аскетизм, налагаемый на себя человеком, есть лишь смутное предчувствие глубочайшей тайны, заложенной в существо его, только предварение вечной и необходимой судьбы его на земле. Достигнув своей цели, процесс достижения прекращается; когда она появляется – средства становятся более не нужны и рассыпаются: таков общий закон всякой целесообразности, и он не нарушается в человеке, как и нигде в мироздании.

На этот исход человеческого развития мы не должны смотреть с грустью, но радостно и с надеждой: природа целесообразности такова, что в ней последующее никогда не бывает низшее сравнительно с предыдущим, и цель всегда лучше, нежели какое-либо из средств. Вот почему всякое сожаление о разрушении последних есть только ошибка чувства, не руководимого мыслью. Нечто подобное тому глубокому явлению, которое совершается в природе, когда органическая энергия преобразуется в психическую, совершается, без сомнения, и в момент окончательного угасания физической организации человека. В чем заключается это явление и какая иная и высшая форма существования, нежели психическое, наступает для человека за этим угасанием – об этом мы ничего не можем знать; но все аналогии в природе заставляют предполагать ее, и об ней говорит религия как о чем-то светлом и радостном.

Скажем еще несколько слов об отношении объекта религии к объектам других сфер творчества. Истина в самой себе, которую ищет человек в знании; красота в самой себе, которую он выражает в искусствах; добро в самом себе, частицу которого неполно и несовершенно осуществляет в государстве, – все это при сколько-нибудь внимательном анализе обнаруживает себя как свойство чего-то, а не как самостоятельное существо. И здесь, нам думается, лежит объяснение слабой связи этих сфер творчества со своими объектами, которые все суть только признаки. Если мы станем искать, что же связует в себе эти признаки, что является существом безусловно истинным, безусловно благим и высшим, нежели всякая красота, – то мы найдем, что, по общему сознанию всего человечества, оно есть то самое, на что указывает ему религия. Таким образом, объект этой последней является, в своих вечных и безусловных атрибутах, объектом и всех иных сфер творчества человека в истории, и что бы последний ни совершал, к чему бы он ни стремился, зная или не зная, он всегда, в сущности, стремится к одному. Религия поэтому есть объединяющий центр человеческой жизни, и она остается таковою даже и тогда, когда ее имя не произносится. Можно идти к предмету и не видя его; и все те, которые восставали когда-нибудь в истории против религии, насколько при этом искали истины – приближались к ней. Но эта смесь истинного и ложного есть всегда свидетельство ограниченности человека: те, которые были наиболее свободны от этой ограниченности, в какой бы сфере они ни трудились, – всегда чувствовали этот общий центр их; от этого величайшие художники были религиозными (Рафаэль, Мурильо); высшие произведения зодчества суть храмы (Парфенон, готические кафедралы); и те, которые были наиболее мудры из людей и раскрыли для человечества самые глубокие тайны мироздания, в какое бы время и среди какого народа они ни жили – всегда были религиознее своего времени и своего народа (Аристотель, Ньютон, Фарадэй). И можно вообще сомневаться, был ли в истории хотя один человек, который при несо-

мненном величии духовных даров своих, и в особенности при величии мысли, – в то же время был бы не религиозен.

Мы коснулись внутренней стороны процессов природы, руководимые одним явлением в ней, самым глубоким и таинственным – явлением красоты. При этом мы обошли молчанием проявления ее в холодной, безжизненной природе – самой темной в мироздании, наиболее далекой от человека и всего менее для него постижимой со своей внутренней стороны.

Было бы несогласно с требованием осторожности, если бы, оканчивая это исследование, мы снова не оговорили той степени достоверности, которою обладает оно; эта степень крайне недостаточна – она гораздо ниже той, какая всегда почти может быть соблюдена при исследовании внешней стороны природы. Но в той среде, где вращалось наше исследование, и не остается ничего другого сделать, как только, введя свою мысль внутрь изучаемого предмета и продолжая свободно и правильно раскрывать ее – смотреть: точно ли отвечают формам этой раскрывшейся мысли внешние наблюдаемые формы самого предмета. В случае их соответствия, есть высокая вероятность думать, что мысль, избранная нами для объяснения предмета, действительно выражает его скрытую, внутреннюю природу.

Эту степень вероятия, оглядываясь на пройденный путь, мы можем признать за мыслью, положенною нами в основу объяснения двух великих сфер природы – органического мира и человеческой истории. Сила целесообразности, являющаяся в первом как органическая энергия, зиждущая, устрояющая и совершенствующая его в частях и в целом, – во втором является как психическая деятельность, которая, нарастая во времени (в силу целесообразной природы своей), становится творчеством. Таким образом, две объясняемые сферы природы, запечатленные одинаковою чертой – присущим им развитием, являются носителями одного и того же начала, но которое проявляется в каждой из них в различной форме. Глубокая соотносительность между органическою энергией и психическим творчеством, которую мы проследили фактически на явлении красоты в природе и во всех важнейших, всеобщих явлениях истории, заставила нас признать это единство; а нарастание во времени этого общего для органического мира и для истории начала, в связи с законом возрастания энергии всякого явления по мере приближения его к своему источнику, побудило нас признать это начало за целесообразность.

Идея целесообразности, таким образом, дозволяет нам хоть как-нибудь понимать природу в целом; и в этом мы видим ее преимущество перед идеей механической причинности, которая остается как теория – в одной стороне, а природа как целое – в другой, без какого-либо соответствия, взаимно бесполезные друг для друга. Только внешнюю и детальную сторону отдельных явлений механическая теория объясняет правильно и просто, и насколько наука состоит в объяснении их – она может пользоваться ею. Но всякий раз, когда от анализа она восходит к синтезу, когда она хочет возвыситься до понимания всей красоты, устроенности и (в особенности) развития природы, она не может ничего иного сделать, как, оставляя механизм в значении пособия при объяснении, сделать центральным в этом объяснении – понятие целесообразности. Причинность участвует в устройстве мироздания, но устрояет его – целесообразность, всегда при помощи причин как посредствующего, – и хоть необходимого, но служебного.

Кто приступает к изучению природы без каких-либо других целей, кроме как понять ее, не может уклоняться от этого принципа, столь удобного для понимания. Но исключительность этой цели столь редка, что мы не можем не признать стремления к ней одной – чем-то действительно трудным для человека. И, между тем, это трудное есть единственное условие внутренней свободы науки, то есть одинаковой готовности ее воспользоваться всяким объяснением, которое удобно. Трудно человеку поклоняться одной истине, и он вечно ищет еще каких-то иных богов, даже когда, по-видимому, враждует с ними.

Ф. М. Достоевский

Размолвка между Достоевским и Соловьевым

Очень скоро после смерти Достоевского Вл. Соловьев, бывший при жизни в некотором духовном подчинении ему, начал быстро и энергично расходиться с ним. В третьем томе «Сочинений» покойного философа помещены статьи, где мы наблюдаем первые шаги этого расхождения. Каковы были основные его побуждения?

В лучших, золотистых своих страницах Достоевский навевал на читателя грезы всемирной гармонии, братства человеков и народов, гармонии жителя земли с этою обитаемою им землею и небом; «Сон смешного человека», в «Дневнике писателя» и некоторые места в романе «Подросток» дают в Достоевском почувствовать сердце, которое не словесно только, но реально прикоснулось тайне этих гармоний. Наполовину слава Достоевского основывается на этих золотых его страницах, как ее другая половина основана на знаменитом его «психологическом анализе», если и не высший, то самый знаменитый пример которого дан в «Преступлении и наказании». На прямой и краткий вопрос: «Да за что вы любите так Достоевского?», «за что Россия так чтит его?» – всякий скажет кратко и почти не думая: «Как же, это самый *проницательный* в России человек и самый – *любящий*». Любовь и мудрость – вот два венца Достоевского, около которых более проблематичны остальные.

В одном месте выражения этой экстатической любви, в «Бесах», он говорит: «Я – всему молюсь; вот ползет паук по стене – я и ему молюсь». Паук – это что-то злое. Но силона любви, из него исходившей, Достоевский преодолевал самое зло, разгонял потоками психического света всякую тьму, и, как в знаменитых словах о «солнце, восходящем над злыми и добрыми», – он тоже разламывал перегородки добра и зла и снова чувствовал природу и мир невинными, даже в самом зле их. В секунду этой «гармонии» – его лично, Достоевского, «гармонии» – вина снималась с мира, и он (Достоевский) знал тайну мира искупленного, о чем мы болтаем пустые деревянные слова, в сущности вовсе не зная и не постигая, что такое для мира быть «искупленным». Метафизический секрет этой «искупленности», нам только словесно известной, был открыт или по крайней мере секундами открывался Достоевскому. Те страницы, где проскальзывает этот секрет, и создали все положительное имя Достоевского, где он дал свой «тезис», в отличие от других, часто очень мрачных страниц его, где он развил множество «антитез» современной ему культуре, да и вообще сердцу человеческому («Записки из подполья», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы»).

Состав этого «белого луча» в «темном Достоевском» чуть ли не столько же сложен, как и состав нам известного простого «белого света». Тут входит и «Лик Христа», к которому он еще с юных своих лет привык обращаться как к неоспоримой небесной красоте, которою проверяется все сомнительное, земное. Может быть, в чувстве Достоевским Христа заключалась личная особенная примесь, может быть, он чуть-чуть Его иначе чувствовал, чем все мы, чем православный обыкновенный священник; именно – жизненнее нас, не столь книжно и воспоминательно, как мы. Второю частью «гармонии» Достоевского было его русское народное чувство, почти – простонародное («Мужик Марей», «Столетняя» в «Дневнике писателя» и там же некоторые рассуждения). С ним к концу жизни слилось его отношение к Пушкину и к лучшим частям нашего образованного класса, с их «всемирной отзывчивостью и перевоплощаемостью». Неразъединимо это ощущение Достоевским своего народа сливалось с упомянутым уже чрезвычайно жизненным ощущением Христа. «Наш народ (и только наш) – Христа в себе принял – оттого он такой», – вот формула и частые разъяснения Достоевского. Для него «православие», «Христос», «народ русский» сливались так тесно, что можно было одно

имя употреблять вместо другого; и это не звуковым образом, а мистически. Известно, что есть в русском народе секта, которая кроме Иисуса Христа, распятого при Понтийском Пилате, признает множество воплощаемых на земле «христов» и «богородиц», к которым относит все благоговение, какое надлежало бы относить к Тому одному. В чудных, выразительных страницах Достоевского о русском «народе-богоносце» («Бесы») мы чуть ли не имеем гениальную и интеллигентную вариацию этого народного мифа-веры. И, вместе, чуть ли в Достоевском и его пророчественном, вдохновенном творчестве нам не дан психологический ключ к разгадке этой темной русской секты. Третья часть «белого луча» Достоевского лежит в его пантеизме, однако не объективно художественном (как у Гёте), а скорей в пантеизме субъективно-религиозном, нервно-моральном. Достоевский не сказал: «Я *любуюсь* на паука», «созерцаю в нем мудрость природы и изучаю его», а кратко и вместе сильнее: «молюсь ему». Тут, пожалуй, тоже есть наука и есть любование, но они позади и забыты, а налицо – сладкая молитва, экстаз. «Дневник писателя» он открывает с рассуждения «О Большой Медведице» (созвездии) – немножко странно для публициста, слишком высокая нота для журналиста. Это – характерная хлыстовская нота, ибо и хлыстов наших, несмотря на их «духовные стихи» и постоянные ссылки на Христа, миссионеры очень тесно связывают еще с дохристианским язычеством. И тут есть основательность. Мы уже заметили, что и в старце Зосиме «Братьев Карамазовых» действуют более звезды, чем монастырский устав, доброта лесов, благость утреннего воздуха, «который вдыхают злые и добрые». Мы вообще не различаем в себе мотивов религиозности, а разобраться в них, исследить душу даже великого подвижника и найдешь в ней слой за слоем чуть ли не целый том «истории религий», и самых древних, и самых новых. Кто объяснит нам, почему Франциск Ассизский и люди его типа вырастали только в пустынножительстве, среди скал, в пещерах, среди вековых сосен, а едва подвижник входил в город, он начинал действовать и говорить жестко, сухо, кратко, раздраженно. И в тех мантиях, в которых мы видали Франциска Ассизского, мы трепещем Торквемады. Монастыри, уединенные в лесах, в древних «священных рощах» Галлии, в диких горах Пиренеев, Апеннин, Афона, – дали все христианство, весь его дух, аромат. Города дали иерархические препирательства, власть, закон, томительные книжные споры. Тут разграничение между Никоном и Сергием Радонежским, между Франциском Ассизским и Иннокентием III; между Ватиканом и… напр., лесною Русью.

Соловьев весь проникся идеею (и чувством) этой «гармонии» Достоевского, не различая в ней указанных сложных элементов; и, приняв ее за выражение и за миссию подлинного исторического христианства, потребовал, так сказать, уплаты по ее невероятно большому векселю. Он был похож, во всей последующей богословско-публицистической своей деятельности, на не очень симпатичного судебного пристава, который с документом в руках все хлопочет около богатого дома, но никак не может добиться, чтобы хоть открыли в нем форточку и подали оттуда ломоть свежеиспеченного хлеба.

«Издали еще можно любить ближнего, но вблизи – ни за что! никогда!» – воскликнул Достоевский в одном месте («Братья Карамазовы»). И в этом печальном признании высказал глубокую границу и ограниченность себя и далее своего творчества. Золотые его страницы вплетены в то мы беспредельного сумрака. Он «молился на паука…». Ну, вот паук не паук, а хоть поляки, нация все-таки не пауковая. Пусть это недостаточный человеческий тип; но ведь нашел же всеоправдывающие человеческие черточки Достоевский и в капитане Лебядкине («Бесы»), пропойце и мошеннике, и в Грушеньке, и в Митеньке Карамазове. Надо бы бросить нации, может быть только униженной и оскорбленной, а от этого и изломанной в характерах, ту «луковку» помощи и признания, о которой он сам так хорошо говорит в «Братьях Карамазовых». Но он не бросил и «луковки». Он накидал фигуры двух шулеров и альфонсов из поляков («Братья Карамазовы») – и больше ничего не промолвил, отвернулся. Вот, опять католичество. Не могу самонужнейшим эпизодом не ввести здесь двух-трех слов, проницательно брошенных мне подлинно добрым, и притом вблизи, – добрым Н. Н. Страховым. Кончая одну большую

свою статью, где сравнивались три церкви, наша, католическая и протестантская, я закончил ее описанием простой провинциальной нашей церкви, куда ко всенощной приходят немногие старики и старушки и молятся с тою наивностью и теплотою подлинной веры, «которая везде на Западе утрачена». Прежде всего я списал это с того, что лично мне было известно. Да ведь и все решительно русские, на прямой вопрос о преимуществах их веры перед другими, прямо ответят: «Наша вера – настоящая, в ней нет морального лукавства, ни умственных художеств, а простое и смиренное отношение к Богу. Молитва наша тепла, а упование несокрушимо». Словом, кто наблюдал внимательно «сущность русской веры», заметил или заметит, что она неотделима от «сущности верующего русского» и что смиренная-то фигура последнего, а не догмат и составляет «отличие православного вероисповедания от инославных». В сущности, даже богословские рассуждения «о разделении церквей» имеют нравственным под собой пафосом чуть ли не это же «разделение племен» и бесконечное восхищение каждого к своему племени в его «коренных чертах». Коренная черта русского, а следовательно, и православия» – смирение. Прочитав эту статью и поняв, что в приведенном месте лежит главное мое основание гордости своею верою и пренебрежением чужими, Страхов мне и заметил, покачивая головою:

«Ах, В. В., эти смиренные, совершенно так же молящиеся старушки, с этою же теплою верой и простотой, – неужели вы думаете, их нет в протестантстве и католичестве? Поезжайте в Шварцвальд, в Тироль; да что…» И он махнул рукой. В словах этих, сперва механически мною выслушанных, заключается, в сущности, целое мировоззрение, и собственно с этого и надо бы начать толки о «соединении церквей», оставив вовсе в стороне и разницу догматов, и соперничество иерархий. Если когда суждено объединиться христианскому миру, он объединится из народных масс, снизу, а не сверху. И началом объединения послужит та простая страховская истина (да укрепим за ним эту честь), что ко Христу и католик, протестант, и православный равно относятся, то же в Нем чувствуют, так же Ему молятся. И что, следовательно, помолиться есть основание и почва каждому русскому за каждого поляка, вообще католика, за каждого немца и лютеранина. Ранее или позже этот мир сердец народных увлек бы к миру и иерархию, и догмат, вызвав отношение к разницам в последних, т. е. собственно к религиозной философии, такое же, как к разницам в культе, в предании, в обычае вер. Не нужно слияние, униформность. Перед Престолом Божиим, в «Апокалипсисе», стоят и молятся не одно, а четыре животных – орел, лев, телец, человек. Почему это не указание, не «откровение», что Богу и не нужна униформная молитва, что Сам Бог хочет видеть народы идущими к Нему во всем узоре разноцветных одежд своих и глаголющими к Нему свое слово на неисчислимых наречиях, неисчислимыми логиками. В основе разницы вер, как и разницы языков, лежат разницы этнографические. Но вера есть такой же природный цветок, неуничтожимый species fidei, как и какой-нибудь говор. Если в Христе, в сущности, уже сейчас примирены все европейцы, то отдаленные – в Отце Небесном, распростертом «над худым и добрым», примирены европейцы и с сирийцем, с арабом, молящимся «на запад солнца», «вечернему свету», молящимся с таким же трепетом к Богу, как мы. Но как нам уже трудно постигнуть, «приять в сердце» римского понтифекса или ученого протестантского пастора – по расхождению кровей и психологии, – еще труднее нам, уже почти невозможно что-нибудь понять в сирийце, арабе. Но это наша граница, преемников Синеуса, Трувора, Рюрика, а не граница человечества, преемника Адама.

В спорах того времени, середины 90-х годов, и мне пришлось принять участие – полемикою с Соловьевым.

Мне представлялось в ту пору (и чуть ли это не есть довольно распространенное представление), что православие – это древняя и тихая старушка, потерявшая силу, молодость и красоту, но с великим прошлым, а главное, которая никого никогда не обидела; и вот мимо этой старушки идут упитанные и счастливые сегодняшней свежестью господа, вроде Чаадаева, Соловьева и всех наших либералов, и толкают ее, и задевают локтем, не только неглижорски, но даже и зло. Всегда для меня слово «православие» просто выражало «приходскую церковь

во время литургии»; ее же я любил, как исключительное и единственное место, где никогда и никакой человек не бывает обижен. Часто посещая церковную службу, всегда стоя там, я думал: «Везде есть разделения людей, везде есть ум и злоба, высшие и низшие, ученые и неученые, и везде-то, везде человек обижен: ученик – учителем, мужик – барином, чиновник – начальником. Только одно есть место на земле, куда какой бы обиженный пи пришел, он перестает чувствовать себя обиженным, и никто на него так не смотрит, и он, как с ангелами и Богом, выше и в стороне от своего обидчика». Храм как место «без обиды» был моей иллюзией (теперь думаю), музой, источником вдохновений много лет.

Между тем Соловьев (чего я не рассмотрел) вовсе и не нападал на церковь-храм, а имел в виду, как он часто выражался, «исторические дела». В этом случае я чувствовал и поступал, как солдат с ранцем, а он – как полководец, как стратег, соображающий местность. Точки зрения совершенно разные, могущие привести к ссоре и разногласице, когда для нее нет настоящих мотивов. Движимый идеей «мировой гармонии», Соловьев повел вопрос религиозный, церковный, но, во-первых, он повел его как вопрос о соединении, а не о примирении и, во-вторых, ожидал этого соединения от рассорившихся иерархий, сверху, аристократически. Ему мечтался единый организм христианства («одно животное перед Престолом Божиим», в «Апокалипсисе»), а не христианство как сад веры. И здесь он сделал много открытий, внес много новых точек зрения на предмет, но в общем потерпел неудачу и покончил тем же раздражением и исключением «инакомыслящих», как и Достоевский, в пределах его «гармонии». Тот видел комизм или преступление во всем нерусском (поляки, евреи, католичество, протестанты). Он начал с «молитвы пауку», а кончил подозрением или клеветою, что католичество есть поклонение сатане, «заговор сатаны против Христа» («Легенда о Великом инквизиторе»), кончившимся весьма грустным признанием, что и «нельзя обойтись без такого заговора» (Христос, целующий Инквизитора в конце «Легенды»), Соловьев также никого не примирил, и едва ли, по крайней мере, при жизни его, отношения католического и православного мира не заострились так же нервно, как в эпоху борьбы около унии, и именно благодаря его попыткам. Но одно важное последствие вытекло из трудов Соловьева: он покачнул status quo наше, преодолел квиетическую школу Хомякова. Само духовенство наше он привел к размышлению, самоанализу, к потере самоуверенности и покоя. Он открыл, – и это есть важная заслуга его, – серьезнейшие нравственные мотивы для вечного нравственного обновления церкви. Школу Хомякова и вообще старых славянофилов можно считать разбитою и уничтоженною Соловьевым, по той очень простой причине, что он указал на ту истину Запада, что он 1) думал, 2) страдал, 3) искал, а Восток просто 4) спал. Но этот сон никак нельзя назвать догматическим совершенством. Дело в том, что приписанные Западу «высокомерие и заносчивость» оказались именно в мешке, среди богатств старушки Востока, которая, как древние последователи Диогена, щеголяла дырьями своего платья. Возьмем ли мы раскол наш, возьмем ли другие недуги, слишком явные, слишком всеми сознаваемые: мы просто ничего не делаем для их устранения. Мы исторически ленивые. И эту леность возвели в догмат, чуть ли не считая ее главною чертою разделения золотого Востока от оловянного Запада. Живой, энергичный, неустанный, вечно умственно копающийся Соловьев и положил конец этой лени. В этом его великая историческая заслуга, «оправдание» (он написал книгу «Оправдание добра») 8-ми томов, его «opera omnia».

К сожалению, Вл. Соловьев ко всем великим запутанностям психологии человеческой, – они же суть и запутанности человеческой истории, – подошел слишком просто и мелко, как судебный пристав с исполнительным листом. Прямо и отчетливо он потребовал у русского, «который способен во всех перевоплощаться», – между прочим, хоть перевоплотиться на первый раз в католика. Он был жестоко в ответ осмеян и отвергнут. Отсюда даже началось умаление его славы, упадок авторитета. Но нельзя не признать, что у него было то, что было у Страхова и чего вовсе не было у Достоевского. Достоевский умел любить «ангельскою любовью» ближнего, если этот ближний стоял на бесконечном удалении; а Страхов знал тайну маленькой

любви к близко стоящему, и эту же тайну знал и по ней выплатил вексель (самое главное) и Соловьев. В несчастнейшем своем периоде и когда он был весь изранен стрелами «примирившихся со всем миром в сердце» своем «перевоплощенцев» (идея Достоевского, за которую ухватились славянофилы), – он не глубоко, не страстно, не гениально, а, однако, подлинно примирился и с католиками и с католичеством, и с протестантами и протестантством. В конце жизни, в глубокую минуту бессилия, он высказал, что отказывается от примирительных между православием и католичеством попыток, а умер крепким православным человеком. Таким образом, подозрение в сильной его католической окрашенности падает само собою. Роль стратега христианских церквей не удалась ему. Но он совершил первый великое дело просто христианина: выдавил из сердца своего черную каплю «разделения вер», будучи лично ни с кем не разделенным и со всеми примиренным.

Весь период этот мелькнул в русской литературе, и уже сейчас, кажется, мы можем только вспоминать его, а не разбираться в реальных последствиях, во всяком случае, неумело начатого дела. Лучшая черта Соловьева есть его подлинная благожелательность; то, что в литературной своей деятельности он пытался осуществить некоторые добрые намерения, но крайне неудачно. Мы в нем вовсе не имеем повторения Чаадаева. Смешение его с Чаадаевым было постоянно при жизни и, кажется, очень вредно ему. Но Чаадаев был ум гордый, высокомерный, изумительно талантливый по силе экспрессии, литературной выразительности, но принадлежавший человеку (судя по некоторым воспоминаниям о нем) едва ли не пустому. С его эффектной, изящной и мимолетной фигурой мало что общего имеет Соловьев, действительно трудившийся до пота над великою задачею, трудившийся долго, неотступно и в неизмеримо менее изящных литературных формах. Вообще Бог не дал ему силы, а добрые желания дал. Возвращаясь к сравнению его с Достоевским, к их обоюдным отношениям, мы можем сказать, что философ стоит около романиста-мистика, как тростинка около дуба. Но Достоевский только заражает собою людей, а не питает. Этой заражающей, обаятельной силы не было вовсе (кроме как в сторону наивных) у Соловьева, который был слишком рационален, прост и внутренно прозаичен (в противоположность наружной поэтичности). Я сказал: «Достоевский заражает только людей», но это без упрека и квалификации худого в нем. В его идеях, в самом языке его, в золотых его страницах все… пряность и пряность, а нет хлеба, нужного, годного, употребительного. Ничем из него невозможно воспользоваться. А кто очень войдет в манящие «сады Гесперид», им открываемые, и надышится их не родным, не русским благовонием, выйдет на арену русской действительности только с головной болью, с изломанным сердцем. Все начинается у него с великих примирений; но они идут по сгибающейся параболе – и все кончается великими разъединениями. Всем раскрываются объятия, а в заключение все выталкиваются. Начинается с бесконечного расширения – кончается бесконечной удушливой суженностью; фанатизмом какого-то семейства Капернаумовых («Преступление и наказание»), в котором «и он сам заикается, и все его девять детей заикаются, и свояченица тоже заикается», – и почему-то все это не только хорошо, но чуть не просится на всемирную выставку. Наши односторонности 80-х, 90-х годов и даже до сих пор имеют для себя много объяснения и в старце Зосиме, и Алеше Карамазове. Честное пробуждение от сна, куда нас звал Соловьев, прямо оскорбило бы нервы Достоевского. Вспомним, как заволновался он оттого, что Левин в («Анне Кар.») чего-то ищет, о чем-то еще беспокоится. И вся эта, вторая и отрицательная, половина «параболы Достоевского» выражена с тем же могуществом, как и первая, как его «тезис». Соловьев проще, рациональнее, прозаичнее. Никакого наркоза в нем нет, никакими «неземными лилиями» он не надышался. Но в его сердце действительно жило несколько добрых чувств, правильных намерений, весьма применимых, весьма осуществимых. И он не был гений, но был хороший работник русской земли, в высшей степени добросовестный в отношении к своим идеям и в своем отношении к родной земле. Вообще мнения о нем чуть ли не противоположны

истине; в нем всегда предполагалось что-то демоническое, «неземное», лукавое и вместе – могущественное. Вовсе все напротив.

Памяти Ф. М. Достоевского

(28 января 1881 – 1906 гг.)

Вот бы в наши дни издаваться «Дневнику писателя» Достоевского. Уже четверть века назад, в эпоху несравненно тишайшую, он смог сделать, что выход почти каждого номера этого «Дневника» получал значение общественного, литературного и психологического события. Некоторые его рассуждения, как о католичестве и папстве, о еврейском вопросе, о русской народности и русской вере – не забыты и не могут быть забыты, они стали частью убеждений огромной части русского общества. Другие «Дневники», как с речью о Пушкине, с рассказами «Кроткая», «Сон смешного человека», «Мальчик у Христа на елке» суть жемчужины вообще нашей словесности. Достоевский писал иногда запутанно, темно, трудно, болезненно, почти всегда неправильно, хаотично: но остается вне споров, что когда он входил в «пафос», попадалась ему надлежащая тема и сам он был в нужном настроении, то он достигал такой красоты и силы удара, производил такое глубокое впечатление и произносил такие незабываемые слова, как это не удавалось ни одному из русских писателей; и имя «пророка» к нему одному относится в нашей литературе, если оно вообще приложимо или прилагается к обыкновенному человеку. Впрочем – может прилагаться: «пророк», по-еврейски «наби», значит просто – одушевленный, вдохновенный, патетический. Ведь были и языческие пророчества и пророчицы – Сивиллы, «сивиллины книги». Мы вполне можем сказать, что в XIX веке, среди пара и электричества, около граммофонов, милитаризма и банков счастливая судьба дала в лице Достоевского русскому народу кусочек «священной литературы», дала новую «сивиллину книгу», без уподоблений и аллегорий, в подлинном и настоящем виде, как некоторое в самом деле «ιερος λογος»[35].

Кажется, не только у нас, русских, но и во Франции, Германии, всюду, где он читается и известен, есть молчаливое согласие видеть здесь центр его интереса и значительности, новизны и оригинальности. Как многие превосходили его в качестве романистов, публицистика его имеет свои недостатки; целые отделы его мышления, как о том же католичестве, еврействе, русском народе и русской вере, – более сомнительны теперь, чем когда произносились, и даже для многих совсем не верны. Ведь и «пророки» иногда ошибались. Пророчество есть именно только пафос, высшее воодушевление, но принятое людьми за «священное» по крайней серьезности своего топа, по величию тем и предметов, каких коснулось, по изумительной, исключительной искренности, где «умерло все суетное». Бесспорно, на множестве своих страниц Достоевский вовсе выходил из рамок литератора и литературы, был вовсе и не романистом и не журналистом, оставаясь по виду им. Укажем на шаблонное: ну, как в «романе» писать главы, – «О аде и адском огне; рассуждение мистическое», «Можно ли быть судьею себе подобных? О вере до конца», «О молитве, о любви и о соприкосновении мирам иным», «Нечто о господах и слугах и о том, возможно ли господам и слугам стать взаимно по духу братьями»? Да это – рассуждения Кирилла Туровского, Иосифа Волоколамского, это – темы, о которых любил рассуждать Иоанн Грозный с монахами, приезжая «отдохнуть от политики» в Кирилло-Белозерский монастырь. Между тем все это появилось в 1880 г., в журнале «Русский Вестник» редакции Каткова. Как странно звучит около этих тем самое название: «редакция», «журнал». Но мы указали только на шаблон, на темы в романе; но не только в этих «Братьях Карамазовых», но и во всех более ранних произведениях Достоевского, особенно в «Подростке» и «Бесах», попадаются страницы до того нового и исключительного тона, что им бы место, казалось, в палате

[35] Священное слово (греч.)

душевнобольных; но они до того трогают и потрясают душу, до того нравственны и религиозны, правдивы и всякой дутое нужны, что мы перед «палатой умалишенных» останавливаемся и относим их в другую совсем сторону: «священные страницы», «святое слово». Очень рациональным и уравновешенным людям ведь и страницы подлинных пророков тоже кажутся иногда «только неуравновешенною, анормальною словесностью».

Я заговорил о том, как зашумели бы сейчас номера «Дневника писателя», живи Достоевский в наши смутные, тревожные, чреватые будущим дни. Вот кто сказал бы нужное слово, какого сейчас мы в литературе не имеем. Момент истории до такой степени исключительный по значительности, можно сказать перелом всей русской истории, – имеет отражения себя в литературе и не имеет руководителей себе в литературе, подлинных наставников, вождей. Все голоса слабы; даже таланты суть таланты литературные, блестящие излагатели блестящих и колеблющихся мыслей, которые не могут никак получить авторитета именно от того, что они не жизненны, не поднялись из тех глубин души народной или общественной, где начинается грозная правда, где уже слышится не «литература», а «дело». «Пророческий» характер Достоевского происходил именно от глубочайшей его преданности «делу», существу русской жизни, судьбам истории его под углом созерцания вечности. Он никогда не служил минуте и партии, заботился не о впечатлении от такого-то номера «Дневника», но о том, чтобы сказать в «ближайшем номере» вечное слово, уже годы тоскливо носимое им в душе. И такого слушали. Могли ли такого не слушать? Все мы лучше, чем кажемся: по наружности все принадлежим партиям, отвечаем на события; а в глубине всем нам хочется высшего, окончательного, не переменного! Есть «пророчество» активное: но и у слушателей, читателей, у мириад людей и в конце концов у народа, общества есть другое, пассивное и тихое «пророчество» же в душе, по которому оно никак не может удовлетвориться мишурою, колебаниями, хотя за неимением иного – следует и этому. Следует, и остановится, и пойдет назад: пока не найдет окончательного!

Наше время, время наступающего конституционализма и парламентаризма, собственно, отрицает и упраздняет все мечты о «своей почве» Достоевского, мечты его молодой еще деятельности, связанной с «Временем» и «Эпохою», и пронесенные до могилы. Достоевский выступил и в обществе и в литературе сторонником «почвы», «почвенности», по каковым терминам его и друзей его современники осмеивали под именем «почвенников». Это – другое имя славянофилов и славянофильства, более, пожалуй, конкретное и жизненное, менее кабинетное и отвлеченно-философское. В самом деле, Россия есть «почва», из которой произрастают «свои травы». Так в Англии, Германии, Франции, так всюду; так «должно быть» и в России. В теории казалось бы неопровержимо. Но, во-первых, кто на этой «почве» не сеял? Сеял византиец-монах, сеял татарин-хан, сеяли немецкие чиновники со времен Петра, сеяли Бюхнеры и Молешотты во время самого Достоевского. И все посеянное – всходило. От ханов (в союзе с ними) и по образцу ханов вырос «Московский Великий Князь» и «Царь Московский» – и к этому Достоевский относится почтительно и любовно: хотя почему это «туземное» и что тут «туземного»? От грека-монаха заимствовал много сам Достоевский, ну почти переписав только хоть это рассуждение «О аде и адском огне; рассуждение мистическое». И все это – не русское. «Почвенное» собрал у нас только Даль, в «Пословицах русского народа», в «Толковом словаре великорусского языка». Но на этих «материалах» Даля политики не построишь. А нужно русскому человеку строить. Нельзя жить без дома, усадьбы, хозяйства, нельзя жить в пустыне, где раздаются «великорусские говоры» и произносятся велемудрые пословицы и этнографические прибаутки. «Почва» и у нас, как было это еще более в Англии (кельты, англосаксы, норманны), в Испании, в Германии, в Италии везде есть ряд наслоений, везде есть ряд «перегноев», т. е. умерших и разложившихся организмов, которые служат просто туком, откуда растем и выросли вот – мы. Да, мы с царственными правами новгородцев, призвавших Рюрика и норманнов, с царственными правами киевлян, позвавших греков и правосла-

вие, москвичей – черпавших у азиатчины. Да и забыл Достоевский притчу о совете Христа: всегда вытаскивать овцу из ямы, всегда лечить больного, даже и «в субботу». Достоевский из «почвы» сделал свою «субботу», славянофильскую, которую решились нарушить «западники», нарушить школою, законом, судом, администрацией, крича: «Подавайте хоть с Запада, хоть из пекла адского, откуда угодно, но подавайте. 2-е тысячелетие сидим без грамоты, без учения, без лечения, окруженные тунеядцами, казнокрадами и алкоголиками». Нет, тут вовсе и окончательно был неправ Достоевский. К нашему времени это стало очевидно до азбучности.

Все народы творили без «почвы», т. е. не принимая ее во внимание сознательно, преднамеренно, по «программе», но выходила отличнейшая «почва», «перегной» из этого смелого и свободного труда каждого поколения только как будто *для себя*. Мы таких ломок, как Италия или Англия, не знали. Россия собственно страшно засиделась и застоялась. В стороне от громадных всемирно-исторических движений, она ни разу не была вовлечена в поток их, где ломались народности и веры, «переменялось все до основания».

«Мало сеяли» – одно можно сказать; «не тяжел был плуг, мало глубины почвы забрал» – вот и только.

«Почва, – говорил Достоевский, – народ, племя, своя кровь и традиция». Известно, что он считается у нас в литературе таким «истинным христианином», как никакой другой писатель; и еще в ученические почти годы, т. с. самые легковесные в религиозном отношении, у него навертывались слезы на глаза, когда кто-нибудь неосторожно выражался об И. Христе. Между тем, кто же основал «царство вне крови и племени», иерархию и систему духовных последовательностей и отношений, которая именуется «церковью», и самая коренная и самая индивидуально-характеризующая особенность которой и лежит в бескровности, бесплотности, в том, что оно «без родственников и соседей», «без отца, без матери», без «детей и внуков», в гранях чего жили и живут все без исключения языческие царства, народы, эти «12 колен Израиля», «12 фратрий Аттики», эти «трибы» Лациума, и до сих пор еще японцы и китайцы. Не нужно жертвоприношений «животных», т. е. «жизни», «биологии», у человека – его этнографии и племен: вот существенная новизна Евангелия, вот откуда пошел поворот новой истории, новое благовестие», «другой завет с Богом», другая религия и летосчисление. Остается непостижимым, каким образом «такой христианин», как Достоевский, стоял, можно сказать, всем главным станом своих убеждений («почва», «почвенность», «почвенники») вне христианства и даже против главной Христовой мысли, стоял, глубоко уйдя ногами в языческую почву и даже именно ее-то и провозглашая «нашей русской верой», «православием», которое призвано сокрушить «сатанинскую» главу католицизма, тогда как бесспорно этот католицизм своею вненародностью и сверхнародностью, своею отвлеченностью и универсализмом, борьбою против «галикализма» и всяких «кириллиц» и «глаголиц» точно и просто последовал указанию Христа: «Отрясите прах Иерусалима от ног своих», «идите к язычникам»; «И кто не возненавидит отца и мать свою, и братьев, и сестер, даже и самую жизнь свою – не может быть Моим учеником».

Удивительная аберрация миросозерцания: всю жизнь работать в направлении двух убеждений, не замечая, что «предки», что «деды» этих убеждений умертвили один другого и завещали всегда потомков этого другого ненавидеть и гнать. Начало «крови», «родства», «почвы» – это язычество; универсализм, духовность, идеализм, «общечеловечность» ну хоть наших доморощенных Фохтов и Молешоттов – это и есть «опьяняющее духовное царство» наших хлыстов, только все грубо и резко выразивших, но выразивших точную мысль Христа, которая повторяется и у католиков, и у протестантских пасторов, идущих в Африку и Китай проповедывать евангелие, и у всех решительно «истинных христиан».

* * *

Сочинения Достоевского до сих пор еще не имеют научного издания. Никто не притрагивался к архиву его рукописей, хранящихся частью в Историческом музее в Москве, частью у его вдовы. Между тем в 1-м издании 1882 г. (до сих пор лучшем) в 1-м томе, где напечатаны «Воспоминания» о нем и письма его, – среди последних есть несколько чрезвычайно важных идейно. Как известно, теперь выходит новое «Полное собрание» его сочинений, – и мы слышали, что там будут помещены чрезвычайно важные отрывки из романа «Бесы», которые остались в черновике и не вошли в печатный текст романа, являя, однако, собою ценное целое. Невероятно, чтобы человек, так напряженно работавший мыслью всю жизнь, не оставил если не множество, то многих важных заметок на клочках бумаги. Хотя, судя по одному автобиографическому месту в «Униженных и оскорбленных», – может быть, здесь поиски не будут особенно успешны. Вот это признание (в самом начале романа): «Не странно ли, что я всегда гораздо более любил *обдумывать* свои произведения, нежели писать их». Черта почти физиологически-пророческая». «Давит мысль, и хочется ее сказать, счастлив сказать, а написать? не очень хочется». Это импровизатор (как у Пушкина в «Египетских ночах»), проповедник, и гораздо менее писатель. Недаром техника письма у Достоевского почти везде несовершенна, запутанна, трудна и достигает великой силы и красоты там, где он собственно не пишет, а говорит, проповедует, произносит (от чьего-нибудь лица) речь. Таковы монологи в несколько глав Ивана Карамазова, исповедь-монолог Версилова (в «Подростке»), единый монолог, в форме которого вылилось цельное произведение, одно из лучших у Достоевского – «Сон смешного человека». Эти «монологи», «излияния», бывшие лучшею частью, самою сильною и красивою, и во всех предыдущих произведениях Достоевского, – естественно закончились «Дневником писателя», т. е. монологом самого автора. Многие пытались повторять эту форму, не замечая, до чего она есть форма лично Достоевского, связана с особенностями его индивидуальности и хороша была только при них. Но мы хорошо понимаем, что от «монолога-дневника» уже только один шаг до прозелитизма, «пророчества», как равно, впрочем, и до «Записок сумасшедшего», тоже роковым образом вылившихся в форму «Дневника».

* * *

Достоевского везде читают как романиста, мыслителя, психолога. Но неустанно его цитируют и комментируют малейшие его строчечки и словечки в литературном лагере, именуемом «декадентами», «символистами» и проч. Вообще здесь он интимно, кровно привился. Есть обширные разборы отдельных им выведенных лиц, напр. Кириллова (из «Бесов»), Почему это? Откуда это? Причин так много, что не знаешь, с которой начать. Если, напр., взять все 14 томов его «Сочинений», то увидим, что они все проникнуты тоном чего-то «прощающегося», оканчивающего, отъезжающего куда-то; тон как бы господина, сводящего последние расчеты с хозяином и выезжающего с квартиры. Этот тон «прощания» – везде у него. Достоевский относился ко всей нашей цивилизации, как Иона к Ниневии, ожидавший, что «вот ее попалит Господь». Совершенно серьезно, с грустью, тоскою, но и с неодолимым, чуть не врожденным желанием, доходящим уже до чего-то злого, он видел и чувствовал глубокую конечность, окончательность, «подведение итогов» всей вообще европейской истории. Опять он тут не связал тех истин, что ведь «европейская история» есть только «история христианства», ибо ни христианства нет вне орбиты Европы, как цивилизации, ни Европы нет иначе как с душою христианскою: и что ожидать «конца Европы» значит только ожидать «конца христианства», и, определеннее – «разрушения всех христианских церквей». Но церкви он безмерно любил, христианство безмерно любил, а Европе ждал и немного жаждал разрушения. Но тут менее

важна программа и публицистика, но чрезвычайно важна психология, вот этот тон «прощания», «ухода». Вес очень здоровое, нормальное, вес идущее «в рост» и крепко надеющееся не привязывало к себе Достоевского, было чуть-чуть враждебно ему, а главное – скучно, незанимательно. Он и монастыри, и «русского инока» (целая глава об этом) оттого любил, что уже все это было археология и «мощи». «Мощи» он любил, как и развалины красивой Венеции. Любил вообще «могилы», и в качестве «дорогих могил» любил безмерно и Европу, ненавидя в то же время ее, как она стояла перед ним, живая и сильная. Всего крепко стоящего на ногах он вообще не любил, а все падающее не только заставляло его бежать к себе острым чувством пробуждаемого сострадания, но и интересом падения, падающего и умирающего. Тут его ночные зрачки расширялись, дыхание утороплялось, сердце сильно билось, душа, ум, интерес болезненно напрягались и он слушал, изучал, любил. Не знаю, как это связать с «почвою»… «Уверяю вас, что лик мира сего мне и самому довольно не нравится», – сказал он своим литературным противникам «либералам», выпуская 1-й номер «Дневника». «И да будет она проклята, эта ваша цивилизация», – повторил он по поводу защиты турок в английских газетах. Так обще, в этих обширных скобках, все-таки не говорил ни один публицист. Но важнее, чем эти вырвавшиеся афоризмы, одна строчка, которую можно было бы поставить эпиграфом ко всем 14-ти томам его сочинений. В тягучем, тоскливом рассуждении, перебирая мелочи политики, и все сгущая и сгущая грусть, он сказал, как бы сквозь слезы, с глубоким предвидением, предчувствием: «преходит лик мира сего», т. е. как бы преображается мир, точно «линяя», сбрасывает старую шкурку, а новое…. еще все в зародыше, ничего нет, да может быть «животное-человек» и не переживет метаморфозы, умерев в судорогах. У него это страшно сказалось. Жалел этого он? Хотел? Он *шел* к этому, и уже шел как сомнамбула, неотвратимо, твердо, точно «завороженный луною». Тороплюсь окончить. И вот этот главный тон его сочинений, самый для него интимный, конечно, не мог быть воспринят здоровыми работниками русской земли, «почвенниками», прогрессистами и либералами (они-то, конечно, и суть «почвенники»), а нервно, чутко и страстно воспринялся «больными декадентами», по ощущению которых тоже «все кончается» и «чем скорее, тем лучше». Ночные птицы перекликнулись с ночными. «Декадентам» нашим только рассудительности недостает и полное на их «нивах» отсутствие гения: но «нивы» эти во многом занимательны. Все эти люди психологичны, нервны, возбуждены (какая масса точек соприкосновения с Достоевским). Все они как-то не крепки быту, неустойчивы в «бытовых формах» своих «предков». Почти знаменитейший из декадентов, Добролюбов, слышно, ходит где-то странником, с посохом и крестом, по Уральским заводам и острогам, проповедуя что-то среднее или что-то «вместе» из Апокалипсиса и «братстве во Христе всех рабочих». А был лет 10 назад баричем и белоручкой. Это очень похоже на Власа в любовном истолковании Достоевского: и хоть бы самому Федору Михайловичу такой эпизод биографии очень шел! Бездна персонажей у Достоевского уже прямые «декаденты», люди вне быта и истории, толкующие об Апокалипсисе и ждущие конца света. Все это очерчивая, я, к несчастью, имею шутливый тон. но у меня есть та серьезная и страшно настойчивая мысль, что Достоевский был единственным у нас гением декадентства, у которого это «декадентство», патология, «пророчество», анормальность, внеисторичность проникает решительно каждую строчку, каждый сгиб мысли, всякое движение сердца; но у него все гигантски, все в уровень со смыслом и задачами века; а у «последующих» тоже декадентов все рассыпалось дробью, стало мелочно, часто не умно, сохранило часто только манеру кривляться – столь натуральную, врожденную у Достоевского, как и у святых их «юродивость». Но все главные черты Достоевского встречаются и у «декадентов»: только у него все это большое, величественное, поражающее, наконец очаровывающее и влекущее, а у них все – в «микрокосме». Этим я не хочу сказать одного только порицания «декадентам», совсем напротив. Уровень сил, дара уделен нам Богом. Но ведь совершенно очевидно, что Достоевский имеет место в истории, место нужное, которого никто другой занять не мог бы, место, наконец, благотворное для людей и нравственно мно-

гим необходимое. Достоевский вызвал слезы и такие движения души, каких никто не умел вызвать. «Сивилла» и «пророчество» – это о нем можно сказать без аллегории, как прямую правду, как правду трезвую. Неудивительно ли это для XIX века и холодной, похолодевшей нашей цивилизации? В ней он не только страшно нужен, но, быть может, нужнее всякого другого литератора и, следовательно, его «стиль» может быть нужнее всякой другой формы литературности. Если же целая школа литературы у нас бьется в каких-то бессильных потугах, но в том же «стиле», в сущности, с теми же позывами, целями, имея ту же психологию: то самое бытие ее глубоко оправдано и только вопрос за гением. Но это уже у Бога, и всегда можно верить, что Провидение устрояет историю именно через «прибавку дара» или «убавку Дара» у тех течений, в тех местах и тех временах, какие, воспреобладав или павши, и дадут, и должны дать нужный узор истории.

Экономический и социальный вопрос у Достоевского

(К 25-летию его кончины)

Обычай и привычка «юбилеев» не так смешна и не нужна, как об этом писал когда-то Катков. Великий московский публицист мог бы припомнить, что «юбилеи» установлены еще ветхозаветным Иеговою: Тем «творцом мира», который определил и определял только нужные столпы созданного Им миропорядка. В самом деле, дни 10, 25, 50, 100-го года – это всего только четыре дня в столетии, и во что можно оценить привычку или закон, по которому вся страна и разом оглянется на какое-нибудь одно важное событие в прошлом или на единое великое лицо своей истории, припомнит его, подумает о нем. Здесь содержится не только память прошлого, но нечто гораздо большее. Нация или страна сливается, воспоминая об этом одном как о «своем» и «общем». Но и затем, через 25, 50 и 100 лет она непременно подумает: как же она воспользовалась, во что употребила это лицо или событие, что сделала с ним в смысле продолжения, как поняла его. Это большие, многомильные столбы общественного движения, и последнему нужны эти оглядывания, чтобы знать, много ли оно прошло, и чтобы иметь бодрость идти далее. Без «верстовых столбов» идти и ехать скучно; это всеми замечено. Поэтому они и ставятся. Как же бы Бог не указал человеку: «ставьте эти столбы в своем пути-истории».

Удивительно, до чего до сих пор жив и ярок Достоевский. Споры в его романах, разные философские и религиозные темы, там поднятые, странные персонажи его произведений, от Макара Девушкина в «Бедных людях» до семьи Карамазовых, далее вводные третьестепенные лица там, вроде следователя Порфирия и студента Разумихина в «Преступлении и наказании», – все держится в памяти с такою свежестью красок и индивидуализмом выражения, как бы эти произведения мы читали прошлым месяцем и не остыли еще горячие споры, возбужденные ими. Даже этюды «Войны и мира» и «Анны Карениной» не помнятся так ярко, а Достоевский 25 лет уже умер! Между тем, был ли человек в нашей литературе, который до такой степени и без остатка бросал бы сердце свое в самое «пекло дня». Минуте своего года и даже вот этого месяца он отдавался весь: помните его рассуждения о «мнении легионов» по поводу заговора бонапартистов, о Пии IX и Бисмарке, о судебных процессах в петербургском окружном суде. Точно репортер, несущий читателю «последние известия». /1а, но для репортера и «эти» и «не эти» известия все суть равно внешние и нешумные. Великая странность и сила Достоевского заключалась в том, что он, например, вот «в последнем деле в окружном суде» усматривал самую «душу мира» (любимое понятие Соловьева), нащупывал пульс мировых течений, всегда психико-метафизических, и таким жадным глазом всматривался в «мелочи времени», что все дошло целиком до нас, и «потроха» тех 77–81 годов, и освещение, им данное. И вот «служитель минуты» сделался или обещает сделаться учителем веков. Вспомнишь вечное Спасителево слово: «И кто бережет душу свою, – потеряет ее; а кто потеряет, – сбережет ее». Один есть секрет вечности и любви потомков: отдать современникам все, до нищеты, до голизны, ничего не сберегая «для себя», «своей славы» и «своего имени». И уж такого безыменного Лазаря похоронит Господь, т. е. и даст ему могилку, и уберет ее, покрыв забвением самолюбивые мавзолеи людей, которые всю жизнь строят себе «будущую память». Ну, кому нужны теперь 10 томов in quarto правильных поэм и трагедий, написанных в подражание и параллель Виргилию и Корнелю «тайным советником Херасковым».

Мне хочется остановиться из всей необозримой панорамы, охватываемой словом «Достоевский», остановиться на этой одной черте его – ежедневности. И хочется, чтобы слова мои о «вечности», проистекшей из «ежедневности», были убедительны. В 1877 году появилась «Анна Каренина»: тут и царскосельские скачки, и знаменитая сердечная драма героини,

вопрос о семье и детях, религии и Боге. Но Достоевский остановился не на этих чертах, занявших все общество. В февральском номере «Дневника писателя» он цитирует место, которое с особенным замиранием сердца будет прочитано сейчас в Москве, 28 января 1906 года, через 29 лет:

– Но всякое приобретение, не соответственное положенному труду, – не честно, – говорит Левин.

– Да кто же определит соответствие? – возразил Облонский. – Ты не определил черты между честным и бесчестным трудом. То, что я получаю жалованья больше, чем мой столоначальник, хотя он лучше меня знает дело, – это бесчестно?

Помещики разговаривают ночью, лежа на сеновале, у крестьянина, во время охоты.

– Ну, так я тебе скажу. То, что ты получишь за свой труд в хозяйстве лишних, положим, пять тысяч, а этот мужик, как бы он ни трудился, не получит больше пятидесяти рублей, точно так же бесчестно, как то, что я получаю больше столоначальника…

– Нет, позволь, – продолжает Левин. – Ты говоришь, что несправедливо, что я получу пять тысяч, а мужик пятьдесят рублей: это правда. Это несправедливо, и я чувствую это, но…

– Да, ты чувствуешь, но ты не отдаешь ему своего имения, – сказал Степан Аркадьевич, как будто нарочно задиравший Левина…

– Я не отдаю, потому что никто этого от меня не требует, и если б я хотел, то мне нельзя отдать… и некому.

– Отдай этому мужику, он не откажется.

– Да, но как же я ему отдам? Поеду с ним и совершу купчую?

– Я не знаю. Но если ты убежден, что ты не имеешь права…

– Я вовсе не убежден. Я, напротив, чувствую, что не имею права отдать, что у меня есть обязанности и к земле, и к семье.

– Нет, позволь; но если ты считаешь, что это неравенство несправедливо, то почему же ты не действуешь так?..

– Я и действую, только отрицательно, в том смысле, что я не буду стараться увеличивать ту разницу положения, которая существует между мною и им.

– Нет, уж извини, это парадокс… Так-то, мой друг. Надо одно из двух: или признавать, что настоящее устройство общества справедливо, тогда отстаивать свои права, или признаваться, что пользуешься несправедливыми преимуществами, *как я и делаю, и пользоваться ими с удовольствием* (курсив здесь и ниже Достоевского).

– Нет, если бы это было несправедливо, ты бы не мог пользоваться этими благами с удовольствием, – *по крайней мере, я не мог бы, мне, главное, надо чувствовать, что я не виноват.*

Не правда ли, слова эти с биением сердца прочтутся всеми москвичами, ибо в журналистике 1905 года не было ничего сказано столь глубокого и вместе столь отвечающего на тему истекшего года, как эти, 29 лет назад сказанные, слова! О, если бы в эти 29 лет русское общество, русская администрация, русское законодательство и, словом, «русский смысл» и «русская душа» поработали над этими словами: не застали бы нас врасплох и растерянными события этого года, да и самых событий, наверное, не было бы в их черных и скорбных и кровавых чертах, а все, подготовившись и совершаясь медленно, расплылось бы в белые и голубые тоны.

Приведя разговор, Достоевский замечает, что «лет 40 назад все эти мысли и в Европе-то едва начинались, а у нас о них знали понаслышке лишь полсотни людей в целой России. И вдруг теперь толкуют об этих вопросах помещики на охоте, на ночлеге в крестьянской риге, и толкуют характернейшим и компетентнейшим образом, так что, по крайней мере, отрицательная сторона вопроса уже решена и подписана ими бесповоротно». Нельзя не заметить, что гр. Толстой, никогда не подходя к экономическому вопросу вплотную, не отдаваясь ему всецело и безраздельно, однако, в каждом своем произведении побочным образом тревожил, бередил его. Это было уже в «Войне и мире», в небольшом диалоге, полном взаимных недоразумений

между княжною Марией Болконскою и толпою мужиков, вошедших при вторжении Наполеона к своей барыне и барышне заявить притязания на помещичьи земли. Толстого каждый читал, все круги общества, и его литературная деятельность сделала то, что экономические, и в частности земельные, вопросы вошли в обиход умственной жизни России с такой же простотой, ясностью и вместе неотложностью, как, например, споры о «классицизме и романтизме» в 20-х годах XIX в. или о реальном и идеальном искусстве в 50-е и 60-е. Достоевский и удивляется в разборе, что об этом спорят не профессора университета, не специалисты по политической экономии, а дворяне, почти богачи и члены Английского клуба, «и так компетентно, как же и профессора». Но и он сам, романист и публицист, психолог и метафизик, отдает этому же вопросу несколько пламеннейших страниц. «Характерная русская черта», – говорит он. А мы добавим, что, если бы эта «характерная русская черта» была сколько-нибудь распространена в русском межеумочном чиновничестве, и не европейском по образованию, не русском по складу ума и сердца, мы не переживали бы того, что пережили, да и вообще весь колорит нашей жизни и вся наша историческая судьба была бы другая.

Стиву Облонского, излишне сгущая краски, оп называет, именно за суждения, выраженные в этой беседе с Левиным, «циником и цыганом». Он уподобляет его приблизительно тому, что сам дал, года два спустя, в Федоре Павловиче Карамазове. Конечно, это – совершенно не так, и между Карамазовым и Облонским пропасть. Но он определенно называет его циником, для которого личное наслаждение есть высшее правило жизни, как для римских эпикурейцев времен упадка, и который мысленно говорит: «Apres moi le deluge»[36]. *Формально*, конечно, Достоевский прав, но ведь и младенец с той же прямотою и непосредственностью и неудержимостью сосет сахар и хватает всякие лакомства, как эпикуреец, да ребенок и в точности есть эпикуреец и никакого «долга» и «совести» не знает со своими крошечными зубками, но ради этого делать на него те окрики, какие делает Достоевский в сторону Облонского, это – все равно, как если бы начать приговаривать к гильотине равно старых французских маркизов конца XVIII века и грудных детей за «одинаково сластолюбивый образ жизни». Достоевский говорит:

«Решает насчет справедливости этих новых идей такой человек, который за них, т. е. за счастье пролетария, бедняка, сам не даст ни гроша; напротив, при случае сам оберет его, как липку. Но с легким сердцем и с веселостью каламбуриста он разом подписывает крах всей истории человечества и объявляет настоящий строй его верхом абсурда:

«Я, дескать, с этим совершенно согласен». Заметьте, что вот эти-то Стивы (Облонский) всегда со всем этим первые согласны. Одной чертой он осудил весь христианский порядок (?), личность (?), семейство (?), – о, это ему ничего не стоит. И, приведя подчеркнутые заключительные слова его о пользовании «несправедливым порядком вещей в свое удовольствие», Достоевский продолжает: «Вот он, подписав, в сущности, приговор всей России и осудив ее, ровно как своей семье, будущности детей своих, прямо объявляет, что это до него не касается: я, дескать, сознаю, что я – подлец, но останусь подлецом в свое удовольствие. Apres moi le deluge».

Конечно, все это неосновательно, несправедливо. Стива – добрый, распущенный ребенок, ни в ком из читателей «Анны Карениной» не возбудивший негодования, кроме Достоевского. Дело тут шире, глубже, гибче и не так безнадежно, как представилось Достоевскому. Русские действительно имеют какую-то прямоту ума, схватывающую разом очень обширные концепции (Достоевский, в пропущенных частях критики, жалуется, что Облонский только вчера начал «болтать» об этих вещах, что он «без науки и подготовки»). Стива просто и прямо говорит:

[36] «После меня хоть потоп» (фр.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.